

Зинзивер № 5 (137) 2023



2023
Санкт-Петербург

ЖУРНАЛ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХІ ВЕКА, СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ХОЛДИНГА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

**Издатель Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
(генеральный директор Евгений Степанов)**

Председатель Редакционного совета
Тамара Буковская

Редакционный совет
Тамара Буковская, Евгений Степанов,
Ольга Денисова

Соредакторы:
Ольга Денисова / проза
Евгений Степанов / поэзия

Редакция
Галина Илюхина
Арсен Мирзаев
Фёдор Мальцев
Валерий Мишин

Адрес:

**Союз писателей ХХІ века
(сайт www.writer21.ru)**
Бизнес-центр «Калейдоскоп»
Россия, 115230, Москва, Хлебозаводский проезд,
д. 7, стр. 9, офис № 12 (7 этаж)
Редакция журнала «Зинзивер»
Степанову Евгению Викторовичу

Союз писателей Санкт-Петербурга
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, дом 22-б
Редакция журнала «Зинзивер»

**Сайт журнала: <http://www.zinziver.ru>
Эл. адрес редакции: zinzivier@mail.ru**

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i>	4
--------------------------	---

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Евгений СЛИВКИН. Воздушный шар. Стихотворения	5
Любовь БЕРЁЗКИНА. Сосновое небо. Стихотворения	16
Мила БОРН. Одному поэту. Стихотворение.	25
Маргарита МАМИЧ. Из цикла «Печальная Азия». Стихотворения.	27
Евгений СТЕПАНОВ. Сказочная жизнь Стихотворения	32

ПРОЗА

Антон КРЫЛОВ. Пять коротких рассказов	36
---	----

ШТУДИИ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. «Жить, страдать, любить...» (к 170-летию В. Г. Короленко) ..	50
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. «Любовь — самое прочное правило...» (к 170-летию А. О. Новодворского)	60

ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений СТЕПАНОВ. Об этике общения в литературной среде	64
---	----

ПАРОДИИ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ И ДР. ПОЭТОВ

Евгений МИНИН. Пародии	68
------------------------------	----

РЕЦЕНЗИИ

Александр Гумённый, «ИНЕТ_СОИТИЕ» (Вера КИУЛИНА)	
Николай Офитов, «Музыкой чаруя неба синь» (Вера КИУЛИНА)	70

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги и читатели!

В этом номере мы публикуем стихи, литературоведческие статьи, публицистику, а также прозу — пять рассказов известного петербургского писателя Антона Крылова.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Поэт. Родился в 1955 году в Ленинграде. Получил диплом инженера-механика. В 1980 году поступил на заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького, а в 1993 году уехал в США и поступил в аспирантуру при кафедре славистики Иллинойского университета, где защитил докторскую диссертацию. Автор многих книг и публикаций. Живет в США.

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

ВОЗДУШНЫЙ ШАР

* * *

В плену скалистого зигзага
о темном холоде ночей
заговорил со мной ручей
со дна глубокого оврага.

Он так хотел ко мне пробиться,
влачась по каменному дну!..
Но не решился я спуститься
к нему на эту глубину.

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

А у дороги на пригорочке,
заиндепевшая на вид,
в обличье девочки Снегурочки
церквушка белая стоит.

За ней на лед лесного озера
в неомраченном свете дня,
гремя железными полозьями,
съезжает с горки ребятя.

Вокруг елово и березово,
и неразлучны даль и близь,
и новогодне дедморозово,
ну прямо — елочка зажгись!

Носы, приученные к холоду,
торчат, как клювы у ворон...
А Дед Мороз отцепит бороду,
и дети ахнут: «Это Он!»

* * *

В сельскую церковь заходит Бог
и спрашивает у священника:
— Где тут у тебя половик для ног?
Почему в углу нету веника?

Отец Антонас к месту прирос,
думает: — Вот и скончанье Света!..
Ни на один судьбоносный вопрос
Богу не может он дать ответа.

НАД ОЗЕРОМ ЛИЕЛАЙС-СТРОПУ

Туда, где гордо реет Дух
Святой промеж Отцом и Сыном,
взлетает голубиный пух,
соперничая с тополиным.

Весь день Заоблачный Синклит
с судейским пристальным вниманьем,
достойным лучшего, следит
за этим тихим состязаньем.

А тополя не ропщут вслух,
но им до трепета обидно,
что голубям способен Дух
Святой подсуживать бесстыдно.

ОГОРОДНИЦА

Н. А.

Она доверилась врачам,
а трепет — вверила бумаге.
Ее заботило, что влаги
не хватит бедным кабачкам,

что жимолость вокруг пруда
не так пышна, как прошлым летом,
что плющевидная бурда...
Но разве дело было в этом!

Прощаясь, мир в нее проник
чесночной грядкой и цветочной.
И я читал ее дневник,
не пропуская междустрочий.

Я узнавал, что огурцы
гниют по ряду обстоятельств,
что разочаровал клематис,
а вот нарциссы — молодцы,

что пострадали гиацинты
от пожирающей их тли...
Что опадают лейкоциты,
а тромбоциты в рост пошли.

АНГЕЛ

Он либо издержался, либо
у них в раю закрыли бар, —
к нам на кормушку для колибри
слетает ангел пить нектар.

Не блея, в ожиданье стрижки
стоят садовые кусты;
на небожителя мальчишки
глазеют, разевая рты.

Эй вы, соседские, умерьте
свои насмешки наконец!
Возможно, это ангел смерти:
еще озлится — и трындец!

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Не слышно здесь собачьих наших лаев —
я, в общем, ни в раю и ни в аду...
Вы завели щенка, а я хозяев
себе, как ни хотел бы, не найду.

Вы будете ласкать его, и тискать,
и поощрять щенячий аппетит:
лакает воду из моей он миски
и на моей подстилке ночью спит.

Собаке умирать не отпроситься —
собаке смерть навязывают в дар,
когда к тебе, скулящему, со шприцем
подходит добрый друг ветеринар.

Мне хорошо, и от людских решений
я не завишу в безмятежном сне.
А вы, с гвоздя снимая мой ошейник,
хотя бы вспоминайте обо мне!

Пушистый хвост я поднимал, как парус,
и неся к вам на зов, что было сил.
Мне кажется, я лучше понимал вас,
мне кажется, я вас сильнее любил...

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ

По беспредельной сини,
как гуся — на базар,
меня в витой корзине
несет воздушный шар.
Я из нее глазею
на все, что там под ней,
вытягивая шею,
чтоб было мне видней.
Уж лучше б сам я взвился,
белея в вышине,
и Хольгерссона Нильса
понес бы на спине!..
Но знай, гробокопатель,
останки хороня,
что в небе покупатель
нашелся на меня.

НАРЦИССЫ

Этот март был полон компромиссов
с февралем: поникли до земли
золотые головы нарциссов, —
холода незванные пришли.

Колотун — безжалостная хватка,
но одолевают смертный сон
медуница, крокус, и хохлатка,
и морозостойкий анемон.

Грядки запорошены и лысы,
промерзают верхние слои
почвы — и хоронят в ней нарциссы
золотые головы свои.

Первой встрепенется медуница,
крокус и хохлатка — вслед за ней.
А нарциссы?.. Им не распрямиться.
Не дожидаться им апрельских дней.

* * *

Куда опять собрался ты?
Не лучше ли сегодня дома
переворачивать листы
семейного фотоальбома.

Кто этот юный индивид
на снимках? Он к тебе причастен.
И жизнь его тут состоит
из вспышек радости и счастья.

Роль этих карточек проста:
они, покуда не порвутся, —
просроченные паспорта
мгновений, жаждущих вернуться.

* * *

В груди урчал моторчик счастья,
он заводился кнопкой «пуск»
и обеспечивал запястью
нормально учащенный пульс.

Перегревался и при этом
защитных не имел реле.
Я полагал, что он — перпетуум,
а он был просто мобиле.

* * *

Когда не принимать амбиций в счет
и самомнение вынести за скобки,
я чувствую себя пустой коробкой
и думаю давно — из-под чего!

Стою, куда засунули: в пыли
за шкафом вечно хлам хранится старый.
А, может быть, во мне к ветеринару
больную черепаху принесли!

* * *

Сердце закаляется —
кровью обливается:
вырастет здоровым,
ко всему готовым!

Что ж оно дрожит в груди,
затевая прятки
с тем, что видит впереди,
и ныряет в пятки?

Нет ни силы в нем, ни воли,
только жалость лишь одна...
От природы хворо, что ли?
Или кровь не холодна?

ФЕРМОПИЛЫ

Созданья без крови и лимфы
с власами, завитыми в жгут,
в Аркадии юркие нимфы
в ручьях и деревьях живут.

Вдоль склонов крутых и пологих
мелькнут они на голубом, —
без ужаса от козлоногих
сатиров спасаясь бегом.

А там, где вздымаются клифы,
и небо синее темней,
сраженые выдавшие нимфы
выходят из серых камней.

Им чужды игривые нравы
ручьев и зефиров живых,
и прыткие горные фавны
руками не трогают их.

ОРФЕЙ

Прищурясь на квадратный парус
пелопоннесских рыбаков,
стоял на мысе Таенарус
из мрака вышедший Орфей —
спиной к разинутой пещере,
лицом к прохладе голубой.
Шумел, ракушками ощерясь,
у самых ног его прибой.
На судне отрок без печали
махал рукой ему с кормы.
Но, просветлев, не отвыкали
глаза вдовца от вечной тьмы.

ДЕЛЬФИН

Нырять бы мне в проворной своре
своих сородичей патрульных
и смуглых отроков на море
спасать из челюстей акульих.

Мне быть бы боевым дельфином,
людьми приученным к убийствам,
неслышно рыскать по глубинам
и смерть нести аквалангистам.

Но в полный штиль от всех поодаль
я из родной стихии выбыл:
с разгона бросился на отмель —
теперь не нужно делать выбор.

СТИХОТВОРЧЕСТВО

Когда в душе светло и больно,
и недалеко до беды,
слова приходят добровольно —
ты только ставишь их в ряды.

Когда ж лукаво их вербуешь,
в душе утаивая ложь,
находишь и мобилизуешь,
то никуда не поведешь!

ВИРДЖИНИЯ ЗИМОЙ

Твои здесь альфа и омега —
а ты все грезишь наяву
и повторяешь: — Снега! Снега!
как три сестры: — В Москву! В Москву!

И на тебя с неодобреньем,
в пруду вылавливая гнусь,
косится, серый опереньем,
залетный гость — канадский гусь.

Он то ли выказал сноровку,
а то ли просто ослабел:
сюда на теплую зимовку,
отстав от стаи, прилетел.

Что ж, у него свои заботы!
А ты идешь — глядишь кругом,
гнилые листья цвета рвоты
расшвыривая сапогом.

В размокшем топчешься суглинке.
А в небе, даже днем видна,
стоит, как памятник снежинке,
иссиня-белая луна.

ТОРНАДО В ВИРДЖИНИИ

Деревья дергались и тело
на тело падали, треща.
Взвилась над крышей и свистела
ветхозаветная праща.

Окно шаталось, дверцы шкафа
открылись, пригласив вовнутрь.
Покрылся тенью Голиафа
небесный свод за пять минут.

Летела птица без оглядки,
пес удирал из конуры.
Катился мир в тартарары, —
а лук-порей торчал на грядке.

* * *

Отлетает сладостная греза —
раздается грохот, лязг и гуд:
по утрам приезд мусоровоза
пробуждает спящий нейборхуд*.

Двигается в дождливом полумраке
шумный монстр по улице моей
и клешнею мусорные баки
поднимает в воздух, как детей.

* от англ. neighborhood — квартал, округа.

МОЛОДОЙ ПОЭТ

Стихи о смерти брали за живое,
как будто он ранение сквозное
носил в груди — в них был и звук, и ритм,
и череда формальных ухищрений.
Но смерть не знает, что такое флирт —
ей подавай серьезных отношений.

ДЕРЕВЬЯ

1.

Дороге птичий гомон снится,
а справа от нее и слева,
как пациенты спецбольницы,
толпятся голые деревья.

Понуро в ожиданье кары
они бредут, как будто знают,
что их настигнут санитары
и снова в снег запеленают.

2.

Деревья лиственные рады
грачу и первому скворцу;
наденут новые наряды —
и листья будут им к лицу.

Они шумят. А на отшибе,
не веря, что пришла весна,
в облезлой от метелей шубе
стоит угрюмая сосна.

3.

В лесу без стоны и без гнева,
неслышный испуская вздох,
свое отжившие деревья
по одному валились в мох.

Цеплялись сучьями — в усилье
чуть задержаться — за кусты...
Потом они под снегом гнили
до ноздреватой черноты.

Весной, никем не отмененной,
над их останками, в густой
тоске (да только не зеленой!)
скрипел стволами сухостой.

А позади него, до края
наполнив шелестом овраг
и скоротечность укоряя,
качал ветвями молодняк.

Поэт, музыкант. Родилась в Ленинграде. Псевдонимы: Александр Верес, Вирель Андел. Место проживания: Германия, Мендиг. Публиковалась в журналах, газетах и сборниках, в том числе: литературный журнал «Викинг — литературный Новгород», «Невский альманах», альманах «Откровение» (Ивановский отдел СПР), сборники под редакцией В. Ф. Чернова «Здравствуй, муза» и «Свет зари», а также сборники издательства «Норд-ост» (Санкт-Петербург) «И звезда с звездою говорит» и «Русь, взмахни крылами», «Антология русскоязычных поэтов — 2000» (Мюнхен), антология «Прощание с Вавилоном. Поэты русского зарубежья» (2014), альманах «Третий этаж» (Берлин, 2018), журналы «Берега. Берлин», «Крещатик», «Русский глобус», «Твоя глава», «Семь искусств», «Ренессанс» (Киев), «Парус», «Сетевая словесность», «45 параллель», «Поэзия.ру», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ». Книга «Раскрыть стихотворение и взять...» (изд. «Стеклограф», Москва 2020), «40+» (изд. Евгения Степанова, Москва, 2023). Финалистка Международного конкурса им. И. Н. Григорьева (Санкт-Петербург) 2014 года.

СОСНОВОЕ НЕБО

* * *

Ожидается снег, даже вьюга
в пять часов три минуты зимы,
на ветру отрываясь от звука,
тишиною становимся мы

и теплом белотелым, двуногим,
что само по себе — ни о чем,
если нет одинокой дороги
с камышовым ее словарем,

если чиркнешь, и пламя задует,
и не видишь, как будто ослеп:
снег огромный встает на ходули,
а потом начинается свет.

* * *

Мне бы твою пустоту и покой,
и через поле идти по прямой,
снега примерив сорочку,
мне бы понять эту белую гладь;
поезд, автобус — везде опоздать,
лишь уцепиться за строчку.

Мне бы любовь прогулять, просидеть
в красном углу, где не водится смерть,
чтобы себе не перечить;
не различая, где пан, где пропал,
не возвращаться на Малый канал
в мысленном поиске встречи.

Чтобы не сдать, получить незачет,
и позабыть, как Фонтанка течет,
цепи качает сурово;
чтобы, не вспомнив иного тепла,
я этот радостный снег обняла
и не сказала ни слова.

* * *

А жизнь срезает лишнее...

С. Пагин

Иди себе от среза и до среза,
и контра повстречается, и деза,
медведи, и пеньки, и пирожки,
но ты не стой, качаясь на дощечке,
пока охапка дров лежит у печки,
и лязгают вдали порожняки.

Затопишь печку — есть дорожка дыма,
когда во тьме, светло невыносимо,
звезда ложится молча на тетрадь.
И ветер бьется в дерево с разбега,
и после снега видишь столько неба...
раздастся: щелк — а нечего срезать.

* * *

Просто надо успокоиться,
сесть под вечер на крыльцо.
Пишет снежная глаголица
на дороге письмецо.

А кому — сие неведомо,
адресат и есть, и нет,
хорошо читать поэтому,
хоть сюжет и перепет.

И над белыми воротами,
умирая от тоски,
лижет лихо большеротое
над губою волоски.

* * *

Бесснежная улица — как подземелье:
набрякшая тьма, желтизна фонарей,
и воздух, качаясь как будто с похмелья,
стоит во дворах у закрытых дверей.

Но слышно сквозь гул неизвестных инерций,
как дышит пространство и где-то вдали
колотится чье-то огромное сердце,
и свет проступает к нему из земли.

Ритмичней, быстрее, неистовей бьется,
все ярче свечение, и ближе финал,
и сердце от этого стало, как солнце,
и воздух свечением солнечным стал.

И, вспыхнув еще, может, раз или дважды,
беззвучно застыло и вот, наконец,
распалось на тысячи, словно бумажных,
воздушных, едва различимых сердец...

Довольно тепла, тишины и уюта,
когда, словно стебель, потянется дым,
и снег расцветает навстречу, как чудо,
наградой для мертвых и в радость живым.

* * *

Для слова не хватает бытия,
остались только дерево и ветер,
и неба поминальная кутя
для каждого пожившего на свете.

Листва осталась жухлая в саду,
молчания приподнятое веко
и то, что оживает на свету
в отсутствующем взгляде человека.

Еще — трава, сухая на корню,
и то, как полдень высится и виснет,
и время покоряется огню...
Простая жизнь, и может — больше жизни.

* * *

Ты в пустоте найдешь ли свой пароль
к бесснежным травам, листьям или хвое?
Спасибо ветру — выглядит дырой
озимыми засеянное поле,
и птице высоту преодолеть
уже невмочь, ее мгновенно сносит,
ты говоришь: хроническая смерть,
а я молчу: клиническая осень.
Мы чаще стали в зеркале вдвоем
и реже — выходить поодиночке,
но все же свет, любуясь воробьем,
становится упрямо на носочки,
заглядывает в зимние глаза
и падает в их снег, как первоклассник,
от счастья перепутав полюса...
Примерно так и происходит праздник.

* * *

В Новый год старики и собачники
просыпаются раньше других
и во тьме раскрывают задачки
на старинных застежках тугих.

И на бледных страницах потрепанных,
где снега в высоту, а не вширь,
меж домашним теплом и ознобами
пробегают живая цифирь.

А ее вычитай или складывай —
на бумажных ладонях зимы
ели машут шершавыми лапами,
уходя в пустоту за холмы,

и снимают игрушки стеклянные,
и цветной электрический жгут,
постоят в тишине над полянами
и по линии жизни идут.

* * *

Сутки спустя после Богоявления
выпал глубокий безветренный снег,
и успокоился более-менее
неоснеженный досель
человек.

Вышел во двор покурить, потоптаться и,
небу пожаткав пушистую пять,
вдруг разбежался на поле за станцией
и без труда научился
летать.

Часто потом мужики поселковые
местному батюшке в церкви клялись,
будто из валенок, с пятками голыми,
тоже взлетали в хрустальную
высь

и на рассвете кружили над банями,
кто-то с собой прихватил поросю,
к Пасхе корова парила над зданьями, —
так деревенька и канула
вся.

* * *

И дети вырастают из перил,
из тусклых коридоров и ступеней...
Зима толчет морозный аспирин
над крышами питейных заведений,

в ее шкафах полным-полно вещиц,
которым почему-то нет износа,
и маленькие руки мастериц
кружат ее ажурные колеса,

прядут неиссякаемую нить,
и волосы усыпал нежный иней,
и снова разрешается ожить
в ночную вертикаль звезде и глине,

и смотришь ты растерянно, впотьмах
свистульками бессонницы увешан,
как лестницы растут на облаках —
а где ж еще им продолжаться, где же?..

* * *

Кровь и вода из светящейся щели амбарной.
Снится дороге береза с распятым на ней
сельским укладом,
и светлую мглой безударной
окутан покой
колеистых его словарей.

Тлеет в стогах почерневшее влажное сено.
Выхрип вороний дымится над лесом,
на кой
глупый февраль
лучше всех переводит Верлена:
тюльпан и вербена, лилейная лань и левкой?..

* * *

Зима увеличила ставки,
чем дальше, тем круче полет,
и снег на войне, словно сталкер,
по минному полю идет.

Идет к белокаменной роще,
где кем-то накрыты столы,
и скатерти ветер топорщит,
и лица сидящих светлы.

И лица сидящих прозрачны,
морозом прихваченный эль
течет, как на вечере брачной.
И в губы целует метель.

* * *

*И дорога, которой их увели,
так с тех пор и висит, не касаясь земли...*

И. Жданов

На четырех земных столпах,
цепями громко звякая,
качается хрусталь впотьмах
над мертвыми корягами.

Луна у ночи на горбу,
висит дороги месиво,
и пустота живет в гробу —
на цепь себя подвесила.

Никто дорогой той нейдет
с разбитыми коленями,
и гроб висит, как звездолет,
как чудное мгновение.

Лишь снег пылит со всех сторон,
тоску и скуку путая,
и гроб гробихе шлет поклон,
сквозь мельтешенье мутное.

* * *

*И тогда мы пойдем, соберемся и свяжемся в круг,
горизонт вызывая из мрака сплетения рук...*

И. Жданов

Так и ходишь по кругу, себя пережав,
пережив, прожевав, перешит, перержав,
как пружина железной кровати,
и во сне кто-то тянет тебя за язык,
засыпаешь во тьму, просыпаешься в крик
на затерянной координате.

И звучит горизонт, из сплетения рук
выдувающий круглый оранжевый звук,
пересверки стеклянных пожаров,
чтобы слух ты поставил на звездный штатив
и шагнул в пробный кадр, небеса подхватив
на шершавые руки бульваров.

И твой голос, впечатанный в фотоожог,
в ген разлуки, в распляску зарничных дорог,
в запеченную мглу подворотен,
проявляет и длит эту нежную боль,
этот светлый порог, что пришел за тобой,
этот радостный оклик Господень.

* * *

И вот мы шьем сосновою иглой,
костлявый полдень с улицей пустой
и воздухом печным соединяя,
и на ветру натягиваем сеть,
чтоб дальше облаков не улететь,
пока пасет нас дудка ледяная.

И легкий сад уходит по воде,
и тонет взгляд в смертельной простоте,
открывшейся повсюду, словно рана,
куда зима вошла по рукоять,
уходит сад, и не на что пенять,
и вслед за ним исчезнуть — невозбранно.

* * *

Поплачемся ветру в прозрачную грудь
и лица в печали утопим,
скажи мне, пропой, просверчи что-нибудь,
пока ты для речи удобен.

Пока ты идешь в гиацинтовой мгле,
в тюльпановой медленной склоке,
и руки твои, что по локоть в золе,
их звук понимают высокий.

Тогда две молвы, две слезы, два зерна
уронишь над пахотной мукой,
и горькую песню проглотит она,
и выдохнет почвой упругой.

* * *

Сны ледяные бессрочной воды,
ночь собирает на небе плоты,
медленно строит понтоны,
и вереницы умерших людей
молча выходят из тесных смертей,
лица светлы и бездонны.

Кто мы такие, бегущие к ним
по сновидениям знобким, пустым,
ветру, который не ветер,
а колыхание длинных рубах
и тишина, что несут на руках
плоть потерявшие дети?

Что мы такое, где ангел и зверь
следом вошли в приоткрытую дверь,
длятся их вечные споры,
и никому не вернуться с моста,
только во льду угасает звезда,
и серебрятся просторы.

Сценарист, писатель, поэт. Родилась в 1972 году в Волгограде. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького и сценарный факультет ВГИКа. Публиковалась со стихами, малой прозой и монографиями. Принимала участие в различных издательских проектах. В 2019 году стала дипломантом 39-го Международного фестиваля ВГИК в номинации «Сценарий полнометражного игрового фильма» с пометкой «За яркое воплощение человека на войне». Публиковалась в российских и зарубежных изданиях — «Артикуляция», «Фабрика литературы», «Вторник», «Литоскоп», «Литерратура», «Берлин. Берега» (Германия), «Волга», «ДК», «Зинзивер» и другие. В 2021 году вошла в лонг-лист премий «Русский Гофман» и «Антоновка». Выпустила две книги (проза) — «Голодный остров» и «Дети Гамельна». Член Союза писателей XXI века. Живет в Германии.

ОДНОМУ ПОЭТУ

Нужно сорок лет ходить, чтобы забыть,
нужно бежать, укрываться от памяти, как от врага,
нужно выдумывать поводы и границы,
чтобы не соскользнуть в прошлое, чтобы им не упиться,
чтобы не впасть в мучительное похмелье
от того, что уже не случится,
не вернется,
потому что никто из ушедших еще не вернулся,
я не верю в их рай,
я не верю, что ты с ними заодно,
заскочил в тот заветный трамвай
нет, не надо, не привирай, что так просто
купил себе синий билетик
и умчался неизвестно куда
(за дождем? или ветром?)
и теперь — где ты? где ты? —
не звонишь и не пишешь, а зря,
потому что, пока будет длиться это сорокалетье,
ты не узнаешь, что у нас происходит здесь,
а у нас здесь давно уже кончилось лето,
не узнаешь, что сказанное тобою при жизни
шепотом, трепетно, задыхаясь в ночи,
растасили теперь на стихи, циклы, опусы,
говорят теперь твоим голосом,
говорят, говорят вместо тебя,
но я слышу, как в этом осином гомоне
меньше и меньше того, что действительно было,
потому что несокрушимое загородило
то, чем мы были с тобой, чем мы жили,
и за нас теперь декламируют и поют,

я зову тебя, и они тоже зовут
мертвого из твоей идиллии,
из мира теней и Вергилия,
чтобы воскресить, чтобы воспеть из ропота,
уточнить, что же значили все твои шепоты,
посвящения, мщения, плач.
А ты знаешь, последний твой врач,
констатировав, сообщил как-то бесцветно,
что тебя больше нет,
сорок лет нужно ждать теперь, все сорок лет,
чтобы освободиться от памяти о тебе,
но они не дают, они — везде,
декламируют тебя и поют,
пересказывают истории твоих побед,
они зовут тебя, призывают, но — нет,
ты по-прежнему не звонишь и не пишешь, а зря,
потому что еще чуть-чуть, и тебя превратят в короля,
коронуют на мертвого — что может лучше быть для поэта,
а ты помнишь, однажды летом (кажется, в самом его конце)
мы сидели и слушали старую пластинку (ты, кстати, ее так и не вернул),
никому до нас не было дела,
за окном парило, звенело, пело,
протекала большая река,
день кончался, а с ним кончалось и лето,
впрочем, вряд ли ты помнишь, зачем тебе теперь это,
и поэтому не слушай меня и не верь,
просто сорок лет — это слишком мало,
чтобы преодолеть, что тебя не стало,
и не слышать посланий твоих запоздалых
из пустоты, из тщеты, из ниоткуда,
где лебеда, кориандры и пылевая вьюга
слов, застрявших в посмертной книге,
так кричащей мне о тебе и о прошлом,
сквозь которое между строк, че-рез-по-лос-но
проступает кровь, как через бинты павшего в битве,
неживого, ставшего всем молитвой,
памятником, вином на тризне,
но скажи, боже мой, скажи мне,
зачем тебе эта манна, эти хлеба вместо жизни?

Родилась в Москве. Получила образование в МК МГИМ им. А. Шнитке и в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, студентка Литературного института им. А. М. Горького. Победитель XVIII Международного конкурса им. Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков (2023, 1 место), победитель I Международной Литературной премии им. А. С. Серафимовича (сезон 2022 года, 1 место), член жюри V Международной премии в области литературного творчества для детей «Алиса-2023», участница Зимней школы поэтов. Публиковалась в литературных журналах «Звезда», «Вторник», «Нуарт» и др., а также в различных литературных альманахах, среди которых — «Тверской бульвар, 25».

ИЗ ЦИКЛА «ПЕЧАЛЬНАЯ АЗИЯ»

* * *

Морская жемчужина спрятана в брюхе дракона;
Он дремлет в подводной пещере на кварцевом дне,
Песок расчертив силуэтом,
Забывший приливом;
Над ним на поверхности снов — разноцветные ленты,
И плавают свечи в бумажных цветах по воде:
Мальш их пускает у моря,
Где с ветром играет.
Дыхание толщи воды в мутной зыби затона
Теряет свои отголоски и тает в волне,
Как камень, летя рикошетом,
Оставшись счастливым.
О древнем драконе на суше слагают легенды,
Пугая детей перед сном, а в его животе
Не знает жемчужина горя.
И счастья не знает.

* * *

В лесах парусов затерялся тропический остров —
Там вместо брусчатки ракушечный жемчуг рассыпан,
Лимонные рощи пылают в пожаре заката
И горные зубы вгрызаются в звездное небо.

В отверстиях крыш растворяется блеск метеоров,
Сидят рыбаки на причале и ловят минуты,
Считая по стрелкам свои пузыри полнолуний
И время, что дерзко уходит в бездонную вечность.

* * *

Цветок бананового дерева на стебле —
Как медальон на тоненькой цепочке,
Что украшает Пояс Ориона.
Опущены стеснительные веки
И смотрят в залитую отраженьем землю,
Где рис возделывал старательный крестьянин.
Бутон лиловых сказок нашей жизни,
В которые мы верили когда-то,
Теперь окрасился усталым бурным цветом.
Пурпурные банановые слезы
Все капают на рисовое поле,
Затапливая грунт для новых всходов.

* * *

Озеро — кратер вулкана,
Пепельная позолота,
Нить между теми мирами,
Где просыпаются лодки.
Их паруса не уносят
Вихрем к таинственным странам,
А пеленают младенцев —
Тех, что притихли в утробе.
Кратеры, кратеры всюду!
Жерла вулканов по кругу!
Сонные, спящие тени —
Там, за иными мирами.
Серые камни гранита,
Белая соль полнолуний —
Желтые травы дороги,
Что обрывается бездной.

* * *

Похожие на лодки крыши
Плывут в горах над облаками
И, бросив якоря в селеньях,
Любуются Летучей Рыбой.
Там Южный Крест над минаретом
Мерцает жемчугами чуда,
И Угольный Мешок (туманность)
Его в себя не может спрятать.
Шаманы на вершинах слышат
Дыханье крупными глотками,
Биение сердец в камнях,
Еще не ставших льдистой глыбой.
Похожие на лодки крыши
Синеющее пузо неба
Вспороли, выпустив оттуда
Лучи полуденного света.
Но он, согрев песчаных крабов,
Не смог обжечь алмазным взглядом
Смущенную печаль ответа,
Сокрытого в тени никаба.

* * *

Среди рисовых полей дремлют буйволы,
От жары спасаясь в лужицах пепельных;
В их глазах такая философия,
Что не каждому дарована профессору.
Несмотря на то, что нет образования,
Они понимают, как рассчитывать
Логарифмы утонувших бабочек,
Что упали в море с белой радуги.
Они пристально следят за насекомыми
И Шекспира перечитывают мысленно,
А под ними бьется сердце подпланетное
И стремятся вдаль Земли артерии.
Им не нужно ничего из странных ценностей,
За которые размениваться жизнями
Люди глупые готовы каждовременно.
Потому они, наверное, и счастливы.

* * *

Подводные корветы и фрегаты,
Поросшие ракушками-теньями,
Где водоросли осени подводной
Раскрасят отблески ресницами заката;
Воронки-волны рассекают трепет
Пузыриков последнего дыханья,
Стеблей павану в марселе и гроте,
В скульптурах мачт и в странных силуэтах
Тех королей из сказок в закоулках
Ракушек, на песчаном дне хранящих
Твое предназначение из детства,
Несбывшуюся правду и потерю.

* * *

Когда извергался вулкан —
Земля превращалась в Плутон:
По ней шлейфы лавовых троп
Ступенями мчались к обрывам.
Ночные цветы под водой
Скрывались в желудке ручья,
Что вырвался из-под земли
И стал всем на зло водопадом.
Когда извергался вулкан —
Никто не ушел по реке:
На лодках из каменных глыб
От пирса отчалить непросто.
И только одна Тишина
По шельфу спустилась на дно —
Поэтому лишь и спаслась,
Оставив других под курганом.

* * *

У воды застыли черные фламинго —
Как ветви гротескных деревьев.
Неестественные, длинные ходули —
Изломанных ног перепутье;
Перепаханы банановые клювы
Усмешкой рачков и моллюсков,
А соленые лиманов мелководья
Откроют дороги к закату.
Собираются фламинго в хороводы
Чернильными кляксами пляски,
Репетируют наигранные танцы
И перышки чистят, как совесть.
Мерзнут ноты, разбиваясь над корнями,
Над логикой здравого смысла, —
А озера — словно дупла на тот свет,
Откуда не будет возврата.

Поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ

МОЛЧАНИЕ-И-СЛОВО

сцепка вагонов [нагруженных]-слов
ловля не блох а невидимых смыслов
что я скажу промелькнувшим столетиям
я промолчу

что я скажу кровопийцам и ворам
буду молчать точно рыба об лед
только зловещему красному Марсу
выкрикну неотменимое нет

тут промолчать равнозначно измене
страшной измене себе самому
что я скажу долгожданному Б-гу
я промолчу

2018, 2023

В ШАЙМУРЗИНО

Г. Айги

поэзия — как — молчание
молчание — как — поэзия

*2004
Д. Шаймурзино, Чувашия*

АВТОР

марихуана верлибра
героин силлаботоники

2017

ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ

холодная страсть
страстный холод

2010

ГРЕХ

пьяное хвастовство
как пощечина самому себе

2018

НЕ МОЕ ДЕЛО

2000 моих грехов
я о них помню
и мучаюсь
и пытаюсь их отмолить
и сужу себя
строже любого прокурора

а про свои хорошие поступки
я не помню
и не должен помнить
и уж тем более
не должен о них говорить

это не мое дело

2020

СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ

сапоги-скороходы
детства-и-старости

ковер-самолет
прошлого-настоящего-будущего

шапка-невидимка

2017, 2018

КРИК

утро — мгновение — ночь

крик
о пощаде

раздоры
бессмысленны

время хватает за горло
точно кредит

время

2019

НА КРОВИ

Большой правитель — раб
Большой военной базы.
А мировой Генштаб
Вновь отдает приказы.

Ревь тут ни реви —
Огня повсюду вспышки.
А бизнес на крови
Не знает передышки.

2022

ДИАЛОГ

— Ежели ты сам себе не враг,
То послушай старого зануду:
Не ищи друзей среди писак
И другого творческого люду.

Подведут, обманут, предадут.
Верить им не стоит, пустобрехам.
— Думаю, что ты в оценках крут.
И людей судить не надо чохом.

2020

Поэт, переводчик. Член Союза писателей XXI века. Родился в 1960 г. Выпускник Ленинградского университета. Стихи публиковались в журналах «Зинзивер», «Нева», «Дети Ра», «Северная Аврора», «Окно», «Футурум АРТ», «Красный Серафим», газете «Поэтоград». Автор книг «Пассажир гиперборейского автобуса» (изд. «Советский писатель», 2009 г.) и «Любовник зимы» (изд. «Водолей», 2021 г.). Живет в Санкт-Петербурге.

ПЯТЬ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ

ГОЛОДНАЯ ПТИЦА ОДИНОЧЕСТВА

ПРОЗА

Куранты пробили три. Березин отворил дверь, потому что она и так была приоткрыта. Полутемная прихожая, полоска света. В комнате, напоминавшей будуар, сидела женщина в розовом халатике. Березин сразу понял, что это Елена Сергеевна, узнав ее по взгляду. Она смотрела на него, как диктор на телезрителя.

— Владимир Кузьмич? — спросила Елена Сергеевна.

— Елена Сергеевна, — утвердительно ответил Березин.

Женщина улыбнулась, потому что у нее были губы.

— Елена Сергеевна сегодня нездорова, — певуче сказала она. — Давайте знакомиться. Меня зовут Ираида Яковлевна.

— Владимир Кузьмич, — тихо сказал Березин, потому что его в самом деле так звали.

Он подошел к креслу, в котором находилась Ираида Яковлевна, осторожно взял кисть ее левой руки и поднес к губам. Потому что у него тоже были губы.

Ираида Яковлевна продолжала улыбаться, показывая ровные крупные резцы. Березин не выпустил ее руки, которая ему понравилась своей гладкостью и блестящими ногтями. Он помедлил, а потом снова поднес эту руку к губам и дерзко поцеловал изнанку локтя. Ираида Яковлевна улыбнулась еще шире и озвучила улыбку хохотком.

— Милый Владимир Кузьмич, — сказала она очень вкрадчиво. — Елена Сергеевна мне третьего дня говорила, что вы... что у вас... Словом, оно у вас с собой?

Березин наконец оставил в покое руку собеседницы.

— Разрешите, я присяду, — спросил он, соревнуясь с Ираидой Яковлевной во вкрадчивости.

— Конечно, конечно. Простите меня, как неловко вышло.

Он сел, не сводя глаз с Ираиды Яковлевны, и вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшой плоский сверток.

— Пожалуйста, Ираида Яковлевна.

Она приняла сверток и прижала его к груди. Глаза ее заблестели, как давеча ногти.

— Можно, я взгляну?

— Извольте.

Ираида Яковлевна положила сверток на колени и осторожно развернула бумагу.

— Боже мой!

Березин прикрыл глаза и три раза медленно кивнул.

— Какое восхитительное! — воскликнула Ираида Яковлевна, трогая содержимое свертка всеми десятью пальцами рук. Блестящие длинные ногти восторженно щелкали.

Березин нагнулся и расправил загнутые края оберточной бумаги, ненароком коснувшись гладких колен собеседницы.

— Надеюсь, Елене Сергеевне понравится? — сказал он ради того, чтобы сказать хоть что-нибудь.

Глаза Ираиды Яковлевны увлажнились. Она с ласковой укоризной посмотрела на Березина, не забывая поглаживать лежавшую у нее на коленях вещь.

— Неужели, — сказала она проникновенно, — неужели вы думаете, что я отдам это Елене Сергеевне? Глупый, глупый Владимир Кузьмич. Я мечтала об этом с юных лет. Буквально с тех пор, как начала встречаться... Впрочем, это не имеет значения. Владимир Кузьмич?

— Слушаю вас, Ираида Яковлевна.

— Надеюсь, вы не против? Я имею в виду, что вы не против того, что эта вещица станет моей? Березин неопределенно пожал плечами, потому что ситуация располагала к пожатию плеч.

— Я не возражаю. Но, вы понимаете, что цена...

Ираида Яковлевна подалась вперед грудью.

— Я в курсе, Владимир Кузьмич. Форма оплаты мне известна.

— Что ж, в таком случае — решено. — Березин положил ей руку на колено. — Вот только...

— Что только?

— Видите ли... Неудобно получается. Ведь Елена Сергеевна...

Ираида Яковлевна затрепетала темными ресницами.

— Не беспокойтесь. С Еленой Сергеевной я разберусь сама.

Она вновь опустила свой взгляд на то, что лежало у нее на коленях.

— Расскажите! Расскажите, как оно попало к вам. Когда? От кого? Это наверняка какая-нибудь захватывающая история.

Березин встал, подошел к двери, приоткрыл ее, прислушался. Потом затворил дверь и задвинул оказавшуюся очень кстати защелку.

Он вновь приблизился к креслу, где сидела Ираида Яковлевна, зашел сзади и положил ей руки на плечи.

— Надеюсь, это останется между нами, Ираида Яковлевна, — произнес он, наклонившись к ее правому уху. В мочке уха покачивалась рубиновая сережка ромбовидной формы.

— Ах, — сказала Ираида Яковлевна.

— В апреле тысяча восемьсот девяносто восьмого года на раскопках храмового комплекса Тысячи Будд в штате Химачал-Прадеш работал русский энтузиаст Павел Иванович Эрлих. Раскопки проводили, конечно, англичане. Сама королева Виктория курировала проект.

— Сама королева Виктория, — эхом отозвалась Ираида Яковлевна.

— Именно. Павел Иванович находился там по приглашению своего зятя, то есть мужа сестры — полковника Саймона Джонатана Клеменса. Датарпурский раджа благоволил

археологам и даже выделил им охрану. Однако в горах скрывался повстанческий отряд сикхов. И вот однажды, когда никто этого не ожидал, на лагерь напали. Повстанцы перебили охрану и устроили настоящую охоту на европейцев. Полковник Клеменс был убит, но перед смертью вручил Эрлиху некий пакет, наказав передать его жене и сыну. Павлу Ивановичу посчастливилось ускользнуть, переодевшись сикхом. Он прекрасно владел хинди и пенджаби, более полутора лет скитался по Индии, отрастил окладистую бороду и даже прижил ребенка с одной гаддийской прорицательницей.

— Какая прелесть! — воскликнула Ираида Яковлевна, откинув голову и коснувшись затылком живота Владимира Кузьмича.

— В конце концов ему удалось отплыть в Америку простым матросом на судне «Кинтайр». Команда состояла из отъявленных головорезов, поэтому сверток, переданный ему полковником, Эрлих повязал на шею, скрыв его под огромной сикхской бородой. Во время плавания он утратил в поножовщине два пальца на правой руке и обзавелся шрамом через все лицо.

Березин нагнулся над Ираидой Яковлевной и медленно проник пальцами под ворот розового халата. Ираида Яковлевна всхлипнула и прижалась щекой к его руке.

— Из-за враждебного к себе отношения Павел Иванович был вынужден покинуть корабль, когда тот еще стоял на рейде. Даже не получив расчета, он прыгнул с борта в воду и добрался вплавь до Сан-Франциско без единого гроша в кармане. Безденежье огорчало, так как ему предстояло пересечь Североамериканский континент. До Техаса он добирался пешком, зарабатывая на кусок хлеба игрой на самодельном банджо. Однако в Форт-Стоктоне его арестовали по подозрению в причастности к ограблению почтового поезда. За минуту до того, как на него наложили руки помощники шерифа, Эрлих спрятал заветный пакет под большим камнем у дороги на Остин. Оказалось, что его ошибочно опознала одна очень близорукая дама, следовавшая в ограбленном почтовом экспрессе. Дело в том, что главарь местной банды, некто, как впоследствии выяснилось, Огастес Хоу, по прозвищу Эль Барбудо, обладал окладистой бородой, недосчитывался двух пальцев на правой руке и имел шрам.

— Бедный Павел Иванович, — прошептала Ираида Яковлевна.

— Короче говоря, — продолжал Березин, не забывая ощупывать грудь покорной женщины, — Эрлих провел три года в местной тюрьме, пока наконец федералы не застрелили пресловутого Эль Барбудо и его оставшихся сообщников. Ошибка следствия всплыла наружу. Прошло еще полгода, пока бюрократы вновь поднимали и рассматривали дело об ограблении поезда. Эрлих вышел на свободу уже в новом двадцатом веке полностью оправданным. Самое удивительное, что сверток оказался в целостности и сохранности под тем же самым камнем, хотя совсем рядом уже был отстроен новый салун и возведены конюшни.

— Оооо, Владимир Кузьмич, — только и смогла сказать Ираида Яковлевна.

— В то время в Мексиканском заливе обнаружили новые месторождения нефти. Павел Иванович, надеясь заработать на дорогу в Европу, нанялся разнорабочим в новую нефтедобывающую компанию. Благодаря своим многочисленным дарованиям он довольно быстро заслужил повышение. Через пять лет Эрлих уже был акционером компании «Пьюр Ойл Оверсиз». Надобно отметить, что Павел Иванович, конечно, вступил в переписку со своей сестрой, сообщив ей подробности трагической гибели ее супруга. Вдова Клеменс, урожденная Эрлих, жила с ребенком в большой нужде, так как полковник не оставил ей никакого содержания, кроме мизерной пенсии. Впрочем, сам Павел Иванович уже не нуждался в средствах. Пока в России зализывали раны, нанесенные русско-японской войной и революцией, Эрлих постепенно превращался в зажиточного американца. Со временем он смог отправить сестре значительную сумму, и та принялась собираться в дорогу, справедливо

предполагая, что ей и сыну будет покойнее и сытнее жить под крылом разбогатевшего родича. Довольно долго тянулась канитель с продажей дома в Девоншире, а когда все проблемы были решены, миссис Клеменс купила билеты на огромный пароход, следовавший из Саутгемптона в Нью-Йорк. Думаю, вы, дорогая Ираида Яковлевна, уже догадались, что это судно называлось...

— «Титаник», — выдохнула Ираида Яковлевна, потому что все время не переставала дышать.

— «Титаник», — повторил Березин, аккуратно высвобождая руки и верхнюю часть тела Ираиды Яковлевны из розового халата. — Судьба их трагического путешествия вам известна. Ни миссис Клеменс, ни маленький Невилл не спаслись. Павел Иванович Эрлих остался совершенно один на белом свете. Кстати, к тому моменту в результате падения с лошади он лишился ноги и сбрил свою знаменитую бороду.

Ираида Яковлевна сидела в кресле совершенно голая и, как загипнотизированная, смотрела вверх на перевернутое лицо Владимира Кузьмича.

— Как интересно вы рассказываете, — прошептала она.

— Дальше случилось вот что, — продолжал Березин, обходя кресло и одновременно сбрасывая на пол пиджак. — В корпорацию «Пьюр Ойл» устроился табельщиком некто Левзнер, еврей, уроженец Гродно. Эрлих, оплакивая гибель родных, сблизился с соотечественником. Павел Иванович никогда не интересовался политикой, и ему было невдомек, что Левзнер состоял в партии большевиков. Спустя ровно год после гибели «Титаника» Эрлих пригласил Левзнера помянуть погибшее семейство. Неизвестно, что произошло между ними в тот вечер, но утром пятнадцатого апреля Павел Иванович был обнаружен мертвым в собственной гостиной. В горле его торчал стилет. Из сейфа исчезла крупная сумма денег и другие ценности, среди которых, как впоследствии стало ясно, был и некий сверток... Кстати, позвольте я переложу вещицу на журнальный столик. Вам так удобно, Ираида Яковлевна?

— Да, да, хорошо. Продолжайте.

— Табельщик Левзнер, само собой, бесследно исчез. Следы его теряются на несколько лет. Только в восемнадцатом году он появляется в Петрограде под партийным псевдонимом Свободин. При советской власти он занимал ряд высоких постов — сначала в ВЧК, потом в Совнарком. В двадцатых годах Свободин связал свою жизнь с поэтессой и кокаинисткой Марией Пасанен, которой впоследствии удалось сбежать из Совдепии на свою чухонскую родину и даже стать любовницей самого Маннергейма. Говорят, она переплыла Маркизову лужу верхом на надувном... Так вот где ваша эрогенная зона, Ираида Яковлевна!

По журнальному столику кресла пробежал маленький паучок, похожий на транзистор. Ираида Яковлевна перестала дышать и принялась царапать спину Березина своими блестящими ногтями. Владимир Кузьмич с удовлетворением отметил, что Ираида Яковлевна хорошо сложена и физиологически весьма удачно устроена.

— В тридцать девятом году Свободин был арестован как британский шпион, хотя за годы заграничных скитаний на Британских островах так ни разу и не побывал. Расстреляли его без проволочек, а все имущество реквизировали. Драгоценности, антикварные вещи — а их было у него немало — были сданы в Спецхран. Однако же предмета, доставшегося ему от покойного Павла Ивановича Эрлиха, так и не нашли. Между тем все это время вещь хранилась у него, о чем свидетельствовала уже в пятидесятых годах Мария Пасанен в своей книге «Наложница Красного Молоха». Позвольте, теперь я сяду в кресло, а вы, Ираида Яковлевна — вот так...

За окном изменилось расположение облаков. Куранты пробили четыре. Березин некоторое время молчал, потому что его речевой аппарат был занят. Потом Ираида Яковлевна

пошла в ванную комнату. Вернувшись, она выглядела несколько разочарованной, но приветливой.

- У вас все в порядке, Владимир Кузьмич? — осведомилась она, накидывая халатик.
- Благодарю вас, все замечательно. Вы позволите мне закурить?
- Пожалуйста, вот пепельница. И меня угостите, будьте добры.
- Извольте, вот.
- Спасибо.

Минуты полторы они молча курили, исподтишка разглядывая — он из кресла Ираиду Яковлевну, а она со стула лежащую на журнальном столике вещицу.

— Да-а-а, — лениво произнесла Ираида Яковлевна, изящно отводя руку с дымящейся сигаретой. — Какая вещь! Окантовка, наполнение, колористика.

- Обратите внимание на оплавленность вертикального фрагмента.
- Да, да, мастерская работа.
- Что вы, аналогов практически нет.
- Дивно.

Ираида Яковлевна как бы невзначай взглянула на изящные золотые часики, украшавшие ее левое запястье. Она хороша, хотя и не слишком молода, подумал Березин, погасив окуроч в пепельнице. Он встал, застегнул брюки и поднял с пола пиджак.

- Не хотите дослушать окончание этой истории? — спросил он.

По лицу Ираиды Яковлевны промелькнула тень. Наверное, за окном пролетела голодная птица одиночества.

— Пускай останется недосказанность, Владимир Кузьмич. Должна же быть какая-то тайна. А то жизнь станет пресной, как прошлогодняя маца.

- Вы еврейка, Ираида Яковлевна?
- Да, я еврейка, Владимир Кузьмич.
- Мне с вами было хорошо, Ираида Яковлевна.
- На здоровье, Владимир Кузьмич.

Когда за Березиным закрылась дверь, Ираида Яковлевна вернулась в комнату и с задумчивым выражением лица долго смотрела на свое приобретение. Оно так и лежало — на мятом квадрате оберточной бумаги, расстеленном на журнальном столике.

Ираида Яковлевна покачала головой. Потом не спеша завернула вещицу в бумагу, подошла к окну и выбросила сверток в открытую форточку. Занавеска всколыхнулась от сквозняка и надулась пузырем.

Березин вышел из подъезда на улицу, огляделся. Слева от него в нескольких метрах что-то со стуком упало на асфальт. Он сделал пару шагов в сторону, нагнулся и поднял сверток. Развернул. Узнал. Засмеялся.

Сзади к нему подошел немолодой мужчина среднего роста в нейлоновой куртке. Положил ему руку на плечо.

- Никак нашел что, мил-человек? А вдруг это я потерял?
- Березин обернулся с широкой улыбкой.
- Как ваша фамилия, незнакомец? — спросил он весело.
- Фамилия? Ну, скажем, Гусаков.
- А зовут как?
- Николаем Фёдоровичем звать.
- Березин обнял нового знакомого за талию.

- Николай, — сказал он со значением, показывая помятый сверток. — Ты знаешь, что это?
- Нет, — недоуменно ответил Гусаков. От него отчетливо пахло спиртным.

- А я, кажется, догадываюсь. Пошли?
- Куда это? — удивился мужчина.
- Как куда? Конечно, к Елене Сергеевне...

В последующую за этим предложением паузу органично вписался бы очередной бой курантов. Но час еще не настал, и куранты молчали. Насытившаяся птица одиночества бесшумно кружилась над головами Березина и Гусакова.

«Ну что же вы?» — крикнула она беззвучно. — «Не стойте, как столбы! Скоро стемнеет». И они пошли искать Елену Сергеевну. Пошли пешком, потому что Бог не дал им крыльев. Птица одиночества засмеялась. И увидел Бог, что это хорошо...

ЛИФТ

Первыми заглядываю мужиков с девятого, седьмого, шестого. Затем двоих с одиннадцатого. Живут, что ли, вместе? Одного, совсем молодого, с четвертого. На первом иногда, когда двери настежь, вижу Кузьминичну. Она в ватнике, собирает свои лопаты и метлы из подсобки. Подсобкой служит каморка перед наглухо запертой задней, а прежде парадной, дверью. Но созерцать Кузьминичну некогда. С двенадцатого уже вызывают.

Это жильцы выводят на прогулку собак. На двенадцатом живет дама с далматином. Ее я вожу трижды в день. Утром, после полудня и вечером. Больше она не появляется, сидит дома. В одиннадцать к ней поднимается домработница с двумя полными сумками.

Собаки живут почти на всех этажах. Их я вожу беспрекословно, вместе с хозяевами. Не люблю только тощего метиса с пятого. Он не может терпеть, как все. Так и норовит надуть лужу у меня на полу. Хозяйка, пьющая пенсионерка, испуганно корит его. А все и так знают, кто тут пакостит. Каждую неделю разъяренная Кузьминична едет на пятый скандалить. А что скандалить? Все повторится опять.

Однажды пудель с седьмого этажа укусил мальчишку с десятого. Мне было приятно, радостно. Мальчишка паршивый, пять кнопок у меня сжег. Пуделя с тех пор люблю. Если бы нассал в кабине, простил бы.

Собак и собачников поэтажно возвращаю в места их проживания. Одновременно спускаю суетливых гражданок с совсем мелкими детьми. Знаю: их отводят в детский сад.

Следующие на очереди — студенты и служащие. Эти с утра тихие. Дальше вожу вниз школьников. Иногда вверх, когда кто-нибудь что-нибудь забудет. Школа рядом, они выйдут все одновременно около девяти. Мотаюсь туда-сюда, а они галдят на лестничных площадках. Некоторых провожают мамы.

Наконец человеческий поток иссякает. Можно передохнуть. Днем моими услугами пользуются пенсионеры и молодые мамы с колясками. Слава Самому Главному Механику, мебель на мне не возят. Для этого рядом имеется смежник — грузовой лифт. Вот кому не позавидуешь. Постоянно ломается. Мне все-таки попроще. Если кто и втащит велосипед, то ставит его «на попа». На заднее колесо, то есть. Велосипеды — механизмы тихие, ничтожные. Олицетворяют рабскую покорность и фатализм.

Детские коляски в меня вмещаются. Хотя и не все. В четверг одна тут пыталась втиснуть свою, навороченную. Вошла, коляску тянет — не лезет. Тянет — не лезет. Выйди же ты, думаю, да езжай на грузовом. В общем, терпел, терпел да и сломался ей назло. Так и стоял полдня на пятом с разъехавшимися дверями. Приходили Садыков с Голубевым, чинили,

причитали. Непонятно, мол, чего стоим. Ну я подождал маленько да и починился сам. Закрыл двери и уехал на шестнадцатый.

Открываюсь, а там, на площадке, еще одна стоит с коляской. Из коляски плач, визг. Мамаша грустная такая, смотрит. Затолкала коляску, зашла, поехали вниз. На пятом кнопка нажата. Останавливаюсь. Заглядывают Садыков с Голубевым, злые. Увидели мамашу, сразу разулыбались. Ой, говорят, красавица, как думаешь, влезем? Заходите, говорит, а сама в угол вжалась и коляску на себя. Упаковались с трудом. Садыков тому, что в коляске, ути-ути делает. Тот даже кричать перестал, загукал. Голубев спрашивает ее: как звать? Она в ответ: кого? Голубев ей: вас, например? Она говорит: Даша. Он ей: а меня Саша. А потом: чем мальцу не папаша! И ржут, как два идиота.

А в субботу снова вез ее с коляской, а с ней мужик. Довольно молодой. Тоже знакомый. По будним дням рано из дому убегает. Невыспавшийся, сердитый, с портфельчиком. Выскочит, а через минуту на улице слышно: фр-фр-фр. Мотор завелся. Значит, за рулем.

Короче, едут вниз. Он без портфеля. Она еще печальней, чем в тот раз. Прямо чуть ли не в слезах. Он тоже мрачный. Посматривает на нее кисло. Молчали всю дорогу до первого. И коляска молчала. Вышли.

И часу не прошло — обратно заходят. Оба красные, насупленные, ругаются. Он ей: не надо мне ничего объяснять. Она ему: как же не объяснять, если ты не понимаешь. Он ей: надоело уже, заткнись. Она ему: как ты со мной разговариваешь? Он ей: как заслужила. Она ему: чем, чем я заслужила? Он ей: сама знаешь. Она: не знаю, дурак. Тут он ей — хлоп! — и по физиономии ладонью. Коляска сразу в рев. Слава Самому Главному Механику — шестнадцатый. Вышли. Сперва он, руки в карманах. Потом коляска с криком. Потом она, всхлипывая. Закрыл двери, стою, думаю. Эх, думаю, бремя страстей человеческих.

В воскресенье он, муж то есть, часа в два зашел с сигаретой. Кнопку первого нажал, поехали. Он дымит как у себя дома, паразит. На седьмом остановились. Заходит толстая женщина в синем пальто. Едем дальше. Толстуха покрутила носом, говорит раздраженно: что это вы, молодой человек, курите в лифте? Он в ответ: тебя не спросил. Она ему: хам! Он ей: отвали, корова.

Через полчаса опять шестнадцатый вызывает. Приезжаю — она. Как всегда, с коляской. Едем вниз. Она по говорящей трубке разговаривает с кем-то. Говорит: да, да, обязательно, минут через десять, да, только я с Толиком, да, да, пока.

Стоял на первом, думал. Потом меня отвлекли. Трое молодых, с бритыми лицами, в очках. Костюмы одинаковые, темные. У каждого табличка на лацкане. Говорят между собой быстро, непонятно, не по ГОСТу. Приехали на второй. Вышли. Минут через пять вошли. Поехали на третий. На четвертый. На пятый. И так все этажи. Потом на первый повез их с шестнадцатого. На десятом открыл двери, впустил сантехника Сверчкова. Морда зеленая, небритая. Воскресный день, похмелье. Один из костюмов: извините. Сверчков: чево? Костюм, коверкая слова: ви не хочешь немножко говорит о Боге? Сверчков: ты хто? Костюм: ми Свидетели и Еховы. Сверчков: г.вно вы, а не свидетели. Первый этаж. Сантехник вышел, икая. Костюмы переглянулись, пошептались. Вышли следом.

Долго стоял на первом. Двери открылись. Коляска, а за ней та с шестнадцатого. Которую Дашей зовут. А с ней незнакомый, молодой. В красной куртке. Оба смеются. Коляска мирно пищит. Красная куртка Даше на ухо шепчет. Наверно, чтобы я не услышал. Или чтобы коляска. Она улыбается, смотрит на него. Глаза такие, что хочется подниматься медленнее и любоваться. И не лязгать.

Вышли на шестнадцатом. До самого вечера ездил вверх-вниз как проклятый. Что они, с ума посходили? Выходной же. Воскресенье.

В конце дня снова шестнадцатый. Этот, в красной куртке, одной ногой вошел, а другой на площадке стоит. Дашу за плечи обнимает. Опять шепчутся, не слышно. Придерживаю двери вежливо. Целуются. Снова шепчутся. Обнимаются. Целуются. Долго. Снизу начинают барабанить. Кто-то кричит: отпустите лифт, уроды! Красная куртка ногу убрал, но Дашу не выпустил. Что делать: закрыл двери, уехал, оставил обоих на шестнадцатом.

В тот день больше не видел красной куртки. Наверно, на грузовом спустился. Или по лестнице. Или остался?

Поздно, когда почти никто не ездит, является муж. Шатается, еле на ногах держится. Вошел все-таки, долго пальцем целился, нажал. Поехали. Он по стенке сполз, сидит на корточках, мычит. Приехали на шестнадцатый. Шагнул на площадку, споткнулся, упал. Выругался. Я закрыл двери. В доме тихо. Слышу через закрытые двери: кричат. Грохочут чем-то. Дверь хлопнула. Тишина.

Прошла неделя. Прошла в трудах. Еще одна. Потом еще. Опять видел этого, в красной куртке. Ехал на шестнадцатый.

Ту, которая Даша, возил почти каждый день. С коляской. Мужа тоже возил. Лицо у него постоянно кислое. Слава Самому Главному Механику, никто кнопок не жег, на стенках не царапал. Только облепили всего изнутри рекламой.

Видел Садыкова с Голубевым. Чинили грузовой.

Вроде зима пришла. Мой пол постоянно грязный. Лужа к вечеру натекает. Кузьминична моет меня по утрам, кряхтит. Старость не радость.

К Даше стал равнодушен, признаюсь. Теперь самопроизвольно езжу на шестнадцатый. Жду. Если вызывают, сержусь, лязгаю.

Даша ходит гулять с коляской в шубке. Муж по утрам выбегает в пуховике с капюшоном. Он побрил голову и отпустил бородку. Вид гнусный, особенно сзади. Потому что уши красные, облупленные, торчком.

Несколько раз он возвращался пьяным. Один раз пел. Один раз наблевал мне на пол. Мерзкий тип. Мерзкий.

Под Новый Год они ехали вдвоем. Без коляски. Стояли друг напротив друга, молчали. Смотрели куда-то мимо.

Сезон, когда мало работы. Зимние праздники, я знаю. Двое, которые на одиннадцатом, с чемоданами на колесиках спустились, вышли и пропали надолго. Кузьминична ленилась убирать. Сантехника Сверчкова увезли санитары на носилках. Грузовой не работал, поэтому его прислонили стоймя к моей стенке. Сверчков, пристегнутый ремнями, пучил мутные глаза и пускал пену.

Снова видел этого, в красной куртке. Куртка на нем та же, что и осенью. Другой нет, наверно. Ехал сами понимаете на какой. Спустился часа через три. Или четыре.

Потом мне стало не до них. Было так. Среди бела дня заходит на первом женщина. Маленького роста, в белой шапке. Нажимает кнопку девятого. Двери закрываются. Вдруг две ручищи отжимают двери. Вваливается мужик, высоченный, костлявый, шея длинная. Шапка на маленькой голове набекрень. Пятнадцатый мне, говорит. Женщина нажимает девятый. Едем вверх. Тут мужик на кнопку «Стоп» — раз! Тетку за ворот — два. Ножик из-за пазухи — три. Шипит: готовь рваные, сучка. Белая шапка как закричит: помогите! Милиция! Мужик ей: заткнись и сумку открывай. Она дрожащими руками сумочку открывает, копается. Он у нее сумку вырвал, заглянул, руку сует. Тут тетка быстрым движением ему в шею чем-то как ткнет. Треск, искры. Мужика бросает на стенку, он валится. Тетка жмет на шестой, не переставая орать: помогите! спасите! Приехали. Она выбежала и — шась на лестницу. Двери открыты. Мужик полежал, поворочался, выпрямился. Шею трет,

матерится. Злой. Размахнулся — и кулаком по пульту шарах! Четыре кнопки вбил. Сломал меня, бандит. Сам тоже на лестницу пошел, сторбившись.

В общем, четыре дня стоял на шестом. Надоело. Там жильцы бесконечно курят на площадке. Пепел в консервную банку стряхивают. А банка к батарее прикручена. Выпивают иногда.

Приходили Садыков с Голубевым. Меняли пульт. Теперь кнопки алюминиевые. Гаденышу с десятого — привет!

Только заработал с новым пультом — муж. Едет на первый с большущей сумкой через плечо. Вышел. Почти сразу же открываю двери. Заходит красная куртка. С цветами. Жмет на шестнадцатый: поехали. Отвез. Стою.

Опять вызывает первый. Муж стоит, уже без сумки. Вид решительный. Отвез на шестнадцатый. Стою, жду. Что-то будет.

Двери закрыты. Слышу: на площадке шум, мат. Женский визг. Мне любопытно, сам двери открыл. Там драка. Этот в красной куртке лежит, а муж его по лицу молотит. Лицо все в крови. Даша визжит, сзади на мужа бросается. Муж красную куртку за ворот берет и в кабину толкает. Еще и ногой наподдал. Развернулся — и Даше в скулу кулаком врезал. Кричит: убью, тварь! убью! Потом утащил ее, хлопнул дверью.

Вроде тихо. Красная куртка лежит, еле шевелится. Закрыл я двери и поехал, не спеша, на первый. Остановился, двери раздвинул. Красная куртка лежит, не встает. Наконец, поднялся. Держась за стенку, шагнул. Кровь на пол капает. Вышел. Я двери закрыл.

Не успел толком собраться с мыслями — вызывают. Шестнадцатый. Влетает муж. Лицо белое, губы дрожат. Тычет пальцем в кнопки, попасть не может. Поехали на первый. Выскочил, как ошпаренный.

Стою на первом. Слышу — сирена. Крики. Разговоры на повышенных тонах. Двери закрыты, ничего не разобрать.

Съездил на третий, впустил двух старух. Обе трясутся от возбуждения. Одна кричит шепотом: с шестнадцатого выкинулась, вдребезги, кровь, младенец остался. Вторая: довел ее, мерзавец! Первая: какое там, она от него гуляла. Вторая: как? Первая: да хахаля водила. Вторая: как? Первая: а вот так, муж за дверь, а к ней полюбовник. Вторая: сама, что ли, видала? Первая: каждый день кувыркалась.

Тут приехали на первый. Двери врозь, а там двое в форме. Между ними муж стоит, понурый. Старухи испуганно выскочили. Остановились, рты разинули, смотрят. Один в форме зашел, повернулся. За ним муж. За ним второй в форме. Нажали шестнадцатый, поехали. Приехали, вышли.

Стою. С пятого вызывают, с седьмого, с первого. Не реагирую, стою. Думаю.

Так и простоял весь день. Потом ночь. Работать совсем не хотелось. И двери открывать не хотелось. Мысленно разговаривал с Самым Главным Механиком. Представил себе обрыв троса. Падение. Со всего маху в прямом шахты. Грохот, скрежет. Смерть.

Утром явились Садыков с Голубевым. Наверно, Кузьминична вызвала. Отжали двери рычагом, всего обшарили, на крышу лазали. Ругались последними словами. Ничего не помогло: стою, свет погасил, слушаю молчание Самого Главного Механика.

Девять суток стоял мертвый. Аварийку вызывали, потом комиссию из жилконторы. Стою, терплю. Зачем — не знаю. Наверно, так Самый Главный Механик велел.

На десятый день самопроизвольно поехал на первый. Двери открыл. Кузьминична ахнула. Приходили Садыков с Голубевым, цокали языками. Работаю как новый.

Словом, отпустило меня. Пару собачников отвез. Толстуху с седьмого. Двоих с одиннадцатого с чемоданами поднял на одиннадцатый. Загорелые оба, довольные. Разговаривают, мурлыкают.

С тех пор красную куртку не возил. Не знаю. Коляска тоже пропала. Мужа почти каждый день возил. Утром вниз, вечером вверх. Хотел ему ногу прищемить дверями, да раздумал. Какой-то вид у него потерянный. Будто свет в нем отключили. Для экономии лампочек.

Однажды он с девушкой поднимался. Оба навеселе. Наутро оба спустились на первый. Мотор зашумел: фр-фр-фр. Укатили.

Думаю: почему тот, в красной куртке, на память надпись не оставил? Нацарапал бы хоть на стенке: Даша. Или, там, Даша плюс кто-то. Как у них заведено. Я бы простил.

Что ж. Самый Главный Механик им судья.

Ну, поехали.

ПАДЕНИЕ, ИЛИ ВОПРОС ПОЛА И ЕГО ОТВЕТ

Проклиная свою застенчивость, Фёдоров рефлекторно отвел глаза, как только Оборкина встретила с ним взглядом. Он покраснел и, да, да, исключительно для маскировки, привстал, взял бутылку и наполнил свою рюмку.

Он уже присаживался обратно, даже успел ухватить полную рюмку двумя пальцами, когда шутник Прокопенко выдернул из-под него стул.

Ничего удивительно в этом не было. Тридцать лет знакомства с Прокопенко научили Фёдорова не удивляться. В школе Прокопенко топил портфели одноклассников в унитазах, подкладывал в мешки со сменной обувью кирпичи, дергал, подкраившись сзади, товарищей за щиколотки, и те падали, еле успев подставить руки.

Фёдоров уже понял, что произошло, и тем не менее начал неизбежное падение. Сейчас всем станет смешно, подумал он.

Комната принялась понемногу заваливаться. Как будто он продолжал неподвижно сидеть, а она разгонялась, раскручивалась вокруг своей оси, словно в Луна-парке.

Поехало вниз лицо Уманицкой. Как она постарела, подумал Фёдоров, падая. Слой пудры перестал скрывать заветные морщинки и укромные складочки. Бывшая красавица. Я же с ней, подумал Фёдоров, всего каких-то... лет назад... Любил ведь ее, чуть было не женился, если бы...

Вообще, падение наделило его близоруко-дальнозоркое зрение сверхъестественной остротой. Он даже обратил внимание на ожерелье, плотно охватывающее длинную шею Уманицкой. Красный шарик, синий шарик, черный шарик... красный, синий, черный... Ожерелье ушло вниз первым, за ним последовало и лицо одноклассницы.

И волосы она красит, заметил Фёдоров, когда голова Уманицкой почти исчезла за его нижними веками. Вон там они, седые волосы, вдоль пробора.

А вдруг, подумал Фёдоров, падая, вдруг я ударюсь затылком об угол шкафа и умру. Травма, несовместимая с... Он представил, как все будут обсуждать эту нелепую смерть. Представьте: собрался выпить водки, упал и разбил голову. Так и помер, ха-ха, облившись водкой.

Почему-то эта мысль начисто отбила у Фёдорова охоту помирать. Нет, не так. Конечно, он не желал себе смерти, нет. Просто очень, очень старался ее не бояться. Даже в прошлом месяце закончил перечитывать брошюру «Путь самурая». И вот, падал...

С правой стороны на его неприятности холодно смотрела Оборкина. Какая стильная, подумал Фёдоров отрешенно. Еще когда Оборкин на ней женился, Фёдорову она страшно понравилась. Ей тогда было лет двадцать пять. Сейчас, значит, под тридцать. Да и я тогда был еще женат.

Лера, Лера, подумал Фёдоров. Где, куда, зачем? В памяти отпечатался разинутый рот бывшей супруги. Крик, ругань. Выпученные глаза. Ее полуторачасовые разговоры по телефону. Непонятно, о чем. Странно. Обычно плохое забывается. Как, например, с армией. Вспоминаешь только радостное или смешное. В крайнем случае — обыденное. А с браком все не так.

Хорошо, что я развелся, подумал Фёдоров, продолжая свое падение. Пусть она себе живет. Без нее лучше. И Оборкину с Прокопенко она никогда не нравилась. Прокопенко называл ее: Лера-Холера. Прокопенко, гад!

Вот, подумал Фёдоров, и Оборкина свободна. Бросил ее развратный Оборкин ради девятнадцатилетней дуры. Лучше бы я сел с ней рядом, мы бы... я бы... А вместо этого я падаю. Какой позор! Фёдоров взмахнул руками, чувствуя спиной, что неотвратимо приближается к полу.

В эту сотую долю мгновения, как Фёдоров и предвидел пятью абзацами раньше, водка покинула рюмку и вылилась пряником ему на гульфик. Конечно, подумал он горько. Не на пол, не на скатерть, не на галстук. Он представил себя — лежащего, с мокрой шириной, вытаращенными глазами и разинутым ртом, из которого смотрят на хохочущую публику нехорошие серые зубы.

Сволочь Прокопенко, подумал Фёдоров, продолжая падение. Теперь я на Оборкину и взглянуть не посмею. Она такая молчаливая, строгая. Особенно после того, как Оборкин ее бросил. Почему, интересно, она все еще Оборкина? У нее же была раньше какая-то девичья фамилия. Или нет? Да нет — да.

Оборкина теперь дружила с ними вместо Оборкина. Тот, вновь женившись, перешел на телефонное общение. Звонил, спрашивал: моя бывшая будет? Если слышал утвердительный ответ, прощался, хохотнув.

Вдруг всплыло воспоминание. Классная руководительница Екатерина Филипповна держит пионера Оборкина за красное ухо и орет: завтрадите! завтрадите! негодяй, завтра родителей в школу! Оказалось, этот дуралей украл у уборщицы мешок для мусора, залез в него, провертел дырку пальцем... Словом, это было в девчачьем туалете. Три урока, три перемены просидел, пока не нашли. Скандал.

Они ведь все вместе пришли в первый «А» класс. Фёдоров, Оборкин, Прокопенко, Уманицкая. И проучились вместе до десятого. Причем тогда особенно не дружили. К концу учебы только сошлись. На почве всеобщей влюбленности в Уманицкую.

Тогда Фёдоров дружил с Паниным. Сидели всегда вместе, за одной партой, если учителя не рассаживали. Даже поступили на один факультет. Только Панин быстро умер. Точнее, погиб — его сбило электричкой. Милиция расценила это как несчастный случай. Но Фёдоров знал правду, хоть и не сказал никому. Панин сам шагнул на рельсы. Несчастная любовь. Это было тогда, когда у меня с Уманицкой началось, подумал Фёдоров. В памяти стремительно пронеслось: ботанический сад, чья-то дача, озеро, пляж. Рука Уманицкой с розовыми ногтями. Ее плечи со следами от бретелек.

На похоронах Панина он впервые мертвецки напился. Оборкин и Прокопенко тащили его волоком до такси, до родительской квартиры, до кровати. Впрочем, он этого не помнил.

До сих пор водку пьем, подумал Фёдоров, падая. В школе он был отличником. Сейчас стал неудачником. Надо было сесть рядом с Оборкиной. Тогда Прокопенко при всем желании не смог бы выдержать из-под него стул.

Ударюсь копчиком, подумал он.

Кто-то крикнул что-то женским голосом. В ответ Прокопенко громко сказал: нет!

В поле зрения появилась люстра. В плафонах, разглядел Фёдоров, чернели мертвые летние насекомые. Здравствуй, свет, пронеслось у него в голове, здравствуй, потолок. Здравствуй и ты, пол.

Чьи-то руки попытались подхватить его снизу за предплечья. Поздно, Прокопенко, подумал Фёдоров. Опоздала твоя милость к падшим.

Сперва он ударился копчиком. Потом сзади, потеряв равновесие, шумно рухнул Прокопенко. Потом Фёдоров все-таки сильно ударился затылком. В голове зазвенело, а вот в глазах, наоборот, потемнело.

На какие-то секунды сознание его оставило. Завертелись крупные звезды (или горящие плафоны). Вышел ангел, но не падший, а вполне добропорядочный. Он погрозил Фёдорову пальцем и покачал головой. Извините, молча произнес Фёдоров. Извините меня, пожалуйста.

Когда на небосвод из-за горизонта вновь взошла люстра, Фёдоров лежал на полу. В паху было очень мокро. Водка, подумал Фёдоров.

Его голову осторожно держали теплые руки.

— Больно, Дима? — спросил голос Оборкиной. Звучал голос взволнованно.

Фёдоров немножко закатил глаза. Ему явилась интересная своей загадочностью сдвоенная выпуклость, обтянутая полосатым свитером.

О, только и подумал упавший, о, о!

— Больно? — скандально кричал Прокопенко. — Ему больно! Вы на меня посмотрите. Видите, кровь, кровь! Зачем ты меня уронил, идиот?

Фёдоров нехотя оторвал взгляд от груди Оборкиной и переставил зрачки в нижнее положение. Рядом в сходной позе лежал шутник Прокопенко. Голова его покоилась на коленях Уманицкой.

Как Этеокл и Полиник, оплакиваемые сестрами, подумал бывший отличник Фёдоров, уже, слава Богу, не падая.

— Сорок лет, — сказал он Прокопенко, — а ведешь себя как пятиклассник. Ты старик, Прокопенко!

— Сам дурак, — ответил ему окровавленный товарищ. — Сам старик!

— Заткнись, — сказала недобрая Оборкина, обращаясь к Прокопенко. — помолчи, раз виноват. И не спорь, потому что ты действительно дурак.

— Димочка, — сказала совсем другая Оборкина совсем иным голосом. — Пойдем, солнышко, в ванную, наденешь халат этого идиота, пока штаны сушатся. А потом водочки выпьем. Да?

Да, подумал Фёдоров, и ткнулся лицом в выпуклую загадочность.

ПАТОЛОГИЯ ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ

Давно ли ходили на плоскодонках вниз, вниз по студеной воде прямо к старому дебаркадеру, где играли в карты, в славу, в слова и пили пиво, вино, водку, спирт, чачу и чай из железных помятых кружек, из горлышка, кверху дном, залпом и маленькими глотками, и не ели, да и не пили иногда, когда пить было нечего. А в городке, в тихом городке, в маленьком тихом провинциальном городке, в безымянном городке в это время ждали нас жены, жены и не жены, подруги, спутницы, сожительницы, сестры, братья, родители, соседи и, конечно, дети, много детей, много разных детей и животных, и плакали, и смеялись,

и ждали нас, пока ходили мы вниз, вниз, и ждали нас, когда мы вернемся к ним вверх, и не все дождались, и не всех. Давно ли все это было, если и было вообще?

Вода же была безвидна и пуста, и тьма над бездною воды, и свет сквозь тьму, который уже не воссияет над нашим кормчим Григорием Григорьевым, бражником, травником и бортником, что пропал, пропал после того, как пал, и падение его было головокружительным. Помним его, как он встал и выпрямился, высокий, крепкий, с красным широким лицом, и отверз уста свои, источая пену, как все безумцы, и кричал хулу на заветный мир, на заповедный мир — и не примирился с миром. Он был пьян, он был падший, а стал павший, потому что упал, упал прямо за борт в студеную воду, в черный омут, предназначенный для святотатцев и хулителей, и пропал, пропащая душа. Мы же тянули руки к нему, как малыши тянутся за жевательной резинкой и цветными кубиками, мы звали его, кричали, как болотные цапли: «Григорий, Григорий, не покидай нас, Григорьев Григорий! Верни миру свой лик, красный широкий лик возврати нам и возлюби отвергнутый мир, и примиись, и смирись. Что тебе в реке, что тебе там, когда здесь твое место, у кормила».

Но молчала вода, вода, вода, и некому было вести нас крепкой рукой вверх, вверх, потому что вверх всегда намного труднее идти по студеной воде, чем вниз, вниз по студеной воде прямо к старому дебаркадеру, где рдест, как пальцы утопленников, хватает за ноги, когда вы пьяны и мочитесь с гнилой палубы, что наполовину под водой, в эту бесстрастную мутную реку, и Григорий Григорьев, пластаясь по илистому дну, томится и хочет взойти к нам, и не может, потому что держит его рдест, не пускает, не отпускает его, и едят его рыбы.

Река же не изменилась и не поменяет ни течения, ни постоянства мути своей, сколько бы нас не прикоснулось к ее дну, и даже другой, иной, такой как безнадежно больной Савватий Трофимович, не имевший сил поднять весло, но глядевший в воду, воду и видевший в ней все, что она скрывает: рыб, раков, рдест, ряску, пальцы утопленников и павшего кормчего, то есть все, кроме своего отражения. Игроком был Трофимыч из лучших — и в преферанс, и в канасту, и в очко, и в буру, и в дурака, и слов знал немало, за что ему слава, и пил он, как пел, но старый дебаркадер изменил приложение сил, и Трофимыч, худой, сморщенный и желтый лицом, сидя на ржавом перевернутом ведре с картами в руках, возвел глаза и начал таять, таять, таять, пока не обрел двухмерность, затем одномерность — и исчез, испарился, истлел и истаял, побежденный геометрией. К нему мы тоже тянулись руками, просовывая их в одномерный контур, обозначающий память о Трофимыче, который, то есть контур, тоже исчез без следа вместе с памятью, потому что, в отличие от всех нас, никто не ждал его, не желал и не жалел.

Тем временем наши походы на плоскодонках туда и обратно, туда и обратно, по текущей всегда в одну сторону воде, воде, воде к полузатопленному дебаркадеру, как зигзагообразные марши бесконечной пожарной лестницы, складывались в одно вечное путешествие под небом, под небом всемирной харибды, между берегов, двух берегов, один из которых всегда прав, а другой неоспоримо лев, только постоянства в них нет, потому что они с каждым походом туда и обратно меняются местами. Словом, все неоднозначно, как любил говаривать Отрок Иммануил, проигрывая в карты, кости или кегли очередное желание, и, опережая это желание, прыгал на одной ноге по сырой палубе, кукарекал под перевернутой дырявой шаландой, дотягивался правой пяткой до левого уха или левой до правого, потому что все меняется, и это справедливо не только в отношении берегов. Он и не такое проделывал, Отрок Иммануил, курьер по распространению железнодорожных билетов, студент мединститута и музыкант, а мы смеялись, смеялись, и хлопали в ладоши, и роняли окурки в воду, воду, студеную воду, забрасывающую полупрозрачные щупальца на прогнивший дебаркадер в попытках достать наши сапоги, словно гигантский спрут, и вспоминали его

бедную мать, которая выбивалась из сил, чтобы отвести сына от походов на плоскодонках вниз, вниз по утекающей в бесконечность воде, и плакала, и ругалась, а он говорил ей кротко: «Вот мать моя и братья мои» — и указывал на нас чисто вымытой рукой будущего лекаря, и она отходила прочь, приготовившись ждать, ждать, ждать.

Мы же, как исстари заведено, тянули к нему свои руки, но Отрок Иммануил не видел нас, потому что уходил, уходил по воде, осторожно переступая через проплывающие мимо коряги и торчащий из глубин топляк, пока не скрылся в густом тумане, но перед тем, как исчезнуть, обернулся с улыбкой и помахал нам рукой так, что мы сразу поняли: никуда он не ушел, а остался с нами здесь, на заброшенном дебаркадере, и в каждой плоскодонке, и там, куда мы всегда возвращаемся — в безымянном городке, среди жен, матерей, отцов, братьев, сестер, детей и животных, к которым обязательно нужно вернуться, направляясь вверх, вверх по течению реки, потому что все мы всегда, почти всегда возвращаемся, кроме тех, кто не воротится никогда.

ДУМА

Тимофей Пастухов остановился на углу Владимирского и Стремянной и глубоко задумался.

Пока он думал мимо прошли студентки, курсанты, цыгане, собаководы и розенкрейцеры. Осторожно обойдя Тимофея, курсом на Невский проследовал писатель-баталист Воропаев. Пробежала лошадь, роняя кал. На лошади сидела мисс Анорексия.

Мимо прошли Курцев и Клещев, разговаривая матом. В ногу промаршировали толстые казаки с фальшивыми медалями. Медленно прошел художник Мухин с фальшивой бородой.

Вияля бедрами, продефилировал по тротуару активист гей-сообщества Грешко. Он дважды обошел Тимофея Пастухова кругом, но не задержался.

Проехал на автомобиле депутат Кусманов. Двумя руками он держался за руль, а третьей рукой обнимал скандальную журналистку Марфу Бопертюи.

Проскакала на одной ноге веселая девочка Люся.

Тяжело прокатился мячик, начиненный кокаином, хотя об этом никто не подозревал. Через несколько минут прошел небритый негодяй по кличке Вымя, разыскивающий мячик.

Прошли японские туристы, электрики, члены сборной города по боевой лапте и филателисты. Прошли тени прошлого и прочие разночинцы.

Пробежал чемпион Северо-Запада по паркуру, но так стремительно, что никто его не заметил.

Прошел мимо Анатолий Леонидович Цыперман, поправляя волшебные очки. Торопясь и принимаясь, прошла собака Найда. Она толкнула Тимофея Пастухова мохнатым плечом.

Но Тимофей уже завершил свои раздумья:

— Пойду, вдарю по пивку! — сказал он сам себе.

И прошел в сторону, противоположную Невскому. Мимо себя самого.

«ЖИТЬ, СТРАДАТЬ, ЛЮБИТЬ...»

(к 170-летию В. Г. Короленко)

*«Доколе Свет с вами, веруйте в Свет,
да будете сынами Света» (Ин. 12:36)*

ШТУДИИ

ЧАСТЬ 1

Владимир Галактионович Короленко (1853–1921) — замечательный русский писатель, наделенный ярким, светоносным талантом. Неодолимое «влечение к свету»^{*} — в основе рассказов, повестей, очерков, четырехтомной «Истории моего современника» (1905–1921).

Этими художественно-историческими мемуарами, которые Короленко писал до последних дней своих, но так и оставил незавершенными, восхищался А. М. Горький (1868–1936): «Взял я превосходную эту книжку в руки и перечитал ее еще раз. И буду читать часто, — нравится она мне все больше и серьезным своим тоном, и этой, мало знакомой современной нашей литературе, солидной какой-то скромностью. Ничего кричащего, а все касается сердца. Голос — тихий, но ласковый и густой, настоящий человеческий голос»; «На каждой странице чувствуешь умную человеческую улыбку много думавшей, много пережившей большой души». Горький видел в Короленко «идеальный образ русского писателя».

В 1913 году в юбилейной статье к 60-летию писателя совершенно справедливо было отмечено: «Такие люди, как Короленко, редки и ценны. Мы чтим в нем и чуткого, будящего художника, и писателя-гражданина, и писателя-демократа».

^{*} Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. — М.: ГИХЛ, 1953–1956. — Т. 2. — С. 89. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

Одним из первых большое литературное дарование Короленко рано заметил и высоко оценил Н. С. Лесков (1831–1895) — в те годы уже маститый писатель. Он назвал имя Короленко в числе самых талантливых русских литераторов нового поколения: «Пока еще есть читатели, — нужны и писатели, без участия которых непременно ощутился бы недостаток в чтении. И притом в числе молодых беллетристов есть люди с хорошими дарованиями и тоже с здоровым реальным направлением. Говоря это, хочется назвать г. Гаршина, который пишет прекрасно и который далеко еще не достиг предела полного развития своего таланта. За ним, может быть, следовало бы упомянуть Короленко и молодого писателя Чехова, начинающего писать в том же реальном направлении»^{*}.

В. М. Гаршин (1855–1888) и А. П. Чехов (1860–1904), в один ряд с которыми Лесков поставил Короленко, восторженно отзывались о его личности и творчестве.

Чехов был восхищен первой книгой рассказов и повестей Короленко, увидевшей свет в 1886 году. Особенно выделил Чехов рассказ «Соколинец (Из рассказов о бродягах)», который назвал «самым выдающимся произведением последнего времени».

Гаршин также воспринял книгу Короленко с восторгом и сердечной теплотой: «Я ставлю его ужасно высоко и люблю нежно его творчество. Это еще одна розовая полоска на небе; взойдет солнце, еще нам неизвестное, и всякие натурализмы, боборыкизмы и прочая чепуха сгинут».

Короленко отмежеввался от новомодного в то время натурализма, опираясь на художественные достижения отечественных классиков литературы. Особенно ему был близок реализм И. С. Тургенева (1818–1883), одухотворенный романтической традицией. На это свойство дарования Короленко указал Н. Г. Чернышевский (1828–1889): «Это большой талант, это тургеневский талант».

Как и Чернышевский, Короленко за свои социально-политические, демократические убеждения, за желание помочь угнетенному народу и «едкое чувство вины за общественную неправду» пережил аресты, ссылки, скитания, гонения, цензурные запреты. Однако, несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, он был и продолжал оставаться писателем на удивление светлым, позитивным, жизнерадостным. «Я вообще человек не унылый и не пессимист» (2, 473), — признавался Короленко в одном из своих писем.

В рассказе «Парадокс» (1894) писатель приводит «поучительный афоризм» (2, 367), который навсегда вошел в русский язык крылатой фразой: «Человек создан для счастья, как птица для полета» (2, 368).

Парадоксально, что этот афоризм написал пером на листке бумаги калека, родившийся без рук — «природа забыла приклеить руки к плечам (2, 371). Безрукий уродец научился все делать ногами, даже держать перо и писать ровным, красивым почерком. Окрыляющая фраза о счастье, сочиненная и написанная человеком-«феноменом» на глазах изумленной толпы и подаренная мальчику-рассказчику, обладает чудодейственной способностью духовно поддержать каждого в трудную минуту.

Первую редакцию рассказа «Парадокс» Короленко завершил следующим автобиографическим, лирическим признанием: «И не раз мне казалось, что за плечами у меня вырастают крылья, а потом я чувствовал себя беспомощным, разбитым и бессильным, как червяк, раздавленный в дорожной пыли. Бывали безумные удачи и постыдные поражения, сердце не раз трепетало от восторга и сжималось смертельной тоской, мир раскрывался навстречу моим надеждам и замыкался четырьмя стенами душной тюрьмы... Но никогда с тех пор я не забывал странного афоризма, написанного ногами парадоксального счастливец <...>

^{*} Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. — М.: ГИХЛ, 1956–1958. — Т. 11. — С. 139

— Человек создан для счастья, как птица для полета...» (2, 473–474)

Эта вдохновляющая идея определяла отношение Короленко к миру и человеку. Современники также отмечали «прирожденный оптимизм» писателя. Так, например, в письме к Плещееву от 9 апреля 1888 года Чехов говорил о Короленко, что «идти не только рядом, но даже ЗА этим парнем весело».

Фундаментом такого мировосприятия явилось глубокое убеждение Короленко в том, что каждому человеку свойственно «инстинктивное, органическое влечение к свету» (2, 89). Данное ключевое воззрение получило глубокую психологическую и ювелирно тонкую этико-эстетическую разработку в повести «Слепой музыкант. Этюд» (1886–1898). Это одно из наиболее совершенных произведений писателя, вошедшее в золотой фонд русской литературы.

Герой повести — слепорожденный Пётр Попельский. Природа лишила его зрения, но взамен вознаградила выдающимися музыкальными способностями. Развивая этот дар, необыкновенно чутко воспринимая мир в основном через слышимые звуки, герой со временем становится гениальным пианистом: «Многочисленная публика собралась слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала чудеса о его музыкальном таланте и о его личной судьбе. <...> и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, неприличному» (2, 212–213).

Во время дебютного концерта фортепьянная «могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта», потрясает души и сердца слушателей: «звуки росли, крепили, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы» (2, 213).

Эволюция личности главного героя повести, прослеженная с самого раннего его детства, духовная жизнь, богатый внутренний мир, «душевный кризис <...> и его разрешение» (2, 89) становятся у Короленко предметом тончайшего художественно-психологического анализа.

Поначалу маленький незрячий Петрусь сосредоточен только на своей слепоте и переживает ее как огромное непоправимое несчастье. Мальчику представляется, что он исключен из нормальной жизни и навсегда замкнут в непроницаемом мраке, из которого нет и не будет выхода.

Озлобление своим несчастьем постепенно исчезает, личное горе отходит на задний план. Петрусь открывается навстречу миру и людям — с их радостями и страданиями, навстречу полноте бытия. Оно преисполняется для юноши не только звуками, но и красками, зримыми образами. Слепой почти начинает видеть: «И перед незрячими глазами встало синее небо, и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком... И потом и мельница, и звездные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая, грустная луна... И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых...

Или в его мозгу зароились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину ярким светом, — солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?» (2, 211)

Среди читателей повести нашлись скептики, которые не верили в возможность такого преображения: «Мне говорили часто и говорят еще теперь, что человек может тосковать лишь о том, что он испытал. Слепорожденный не знал света и не может тосковать по нем» (2, 467). В предисловии к шестому отдельному изданию своего произведения Короленко развеял эти сомнения: «И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходи-

лось встречать возражение, по-видимому, очень основательное: по мнению возражающих, этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако, все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны» (2, 89).

Во многом внутреннему просветлению слепого мальчика способствует воспитание, которое он получает от своего родного дяди Максима. В молодости тот отважно сражался в отряде легендарного Джузеппе Гарибальди за освобождение Италии от австрийских оккупантов, получил боевые ранения и увечья: «Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку» (2, 94).

Бывший гарибальдиец-инвалид воодушевлен идеей сформировать из племянника — человека с ограниченными возможностями — активного участника жизни, умеющего отрешиться от собственных душевных ран во имя любви к ближнему: «Кто знает, — думал он, — ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я не даром проживу на свете, изувеченный старый солдат...» (2, 103)

В эпилоге — в сцене дебюта своего воспитанника — дядя Максим осознал, что «сделал свое дело, и он не даром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой» (2, 215). «Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. <...> "Он прозрел, да, это правда — он прозрел", — думал Максим» (2, 214).

Парадоксальным образом свершилось, казалось бы, невозможное: слепой музыкант прозрел, а зрячая толпа праздных зрителей была ослеплена той тьмой неизбывного всеобщего горя народа, которое изливалось в его песнях и выплеснулось мощной волной в талантливых импровизациях слепого музыканта. Ранее юноша был не в силах бороться с разьедающей душевной болью за всех обездоленных, бесправных, нищих и убогих. «Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни... Казалось, будто удар разразился над толпой, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками» (2, 214).

Стон былого личного несчастья Петра Попельского, некогда погруженного во мрак слепоты, преодолевается силой яркого света, ощущением счастья, открывшегося в музыке: «Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон. Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый» (2, 214).

На пути к Свету — заданному в Евангелии христианскому идеалу совершенства и совершенствования: *«поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны»* (Ин. 3: 21), — слепой от рождения герой повести Короленко становится зрячим. «Да, он прозрел... На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...» (2, 214–215)

Так воплощается, обретает новую жизнь евангельское предание о слепом от рождения, которого исцелил Христос, возвестивший: *«Я пришел, чтобы слепые прозрели»*; *«пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы»* (Ин. 9: 39). В Новом Завете тема просветления и прозрения — одна из наиболее волнующих и прекрасных. Прозрение духовное открывает человеку спасительное благовестие Христа: *«Я есть Путь, и Истина, и Жизнь»* (Ин. 14: 6).

ЧАСТЬ 2

Стихией светозрения овеваны и многие другие произведения Короленко. Их основной мотив носит пасхальный характер: это движение от мрака — к свету, от неволи и рабства — к свободе, от угасания — к возрождению, от смерти — к жизни.

Такова повесть «В дурном обществе» (1885), знакомая всем со школьных лет по хрестоматийному фрагменту «Дети подземелья».

Маленькая героиня Маруся, за неимением человеческого жилья ютящаяся с братом и с бродягой паном Тыбурцием среди могильных камней в кладбищенском склепе, тихо угасает от тяжелой болезни, вызванной голодом и холодом. Короленко с необыкновенной нежностью создает образ хрупкой девочки-сироты, с малолетства вынужденной обитать на самом «дне» социального устройства, в «дурном обществе» бесприютных бродяг и нищих отщепенцев.

Так называемое «порядочное общество» не желает даже слышать о таких людях, а если приходится с ними сталкиваться, смотрит на них с ужасом и безразличным отвращением. Однако маленький герой, от лица которого ведется повествование, и его младшая сестра Соня — дети из обеспеченной семьи, не нашедшие душевной ласки в доме родного отца — городского судьи, — именно в «дурном обществе» обретают настоящую дружбу, получают уроки суровой правды жизни, учатся милосердию и состраданию.

Безвременная смерть Маруси, память о ней заставляют ее друзей по-новому взглянуть на жизнь, развить свое горячее желание приходить на выручку обездоленным и всем, кто нуждается в помощи и поддержке: «Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты» (2, 66).

Обеты бороться с несправедливостью, социальным неравенством, произволом власть имущих, вставать на защиту обездоленных и угнетенных, на борьбу с рабством в любой его форме исполнял писатель своим творчеством, всей своей жизнью.

Замечательная повесть Короленко «Без языка» (1895–1902), написанная по собственным впечатлениям от поездки в США, обличает рабство прямое и скрытое, внутреннее. По поводу третьего отдельного издания повести писатель в предисловии пояснял: «Эта книга написана после моей поездки в Америку на выставку в Чикаго. Мое знакомство с Америкой кратковременно и недостаточно. Поэтому я предпочел в центре поставить фигуру своего земляка. Эта книга не об Америке, а о том, как Америка представляется на первый взгляд простому человеку из России» (4, 489).

Угнетение чернокожих в Соединенных Штатах вызывает негодование писателя: «Негр должен при встрече обходить американца. Два негра, беседующих на тротуаре, обязаны непременно посторониться оба, — американец оскорбляется, если ему пришлось свернуть. Цветные — держатся в терроре. От времени до времени идет крик, что негры зазнались, и при первом пустом проступке — линч и казнь...

Экономические отношения проникнуты самым примитивным грабежом... негров заставляют брать в известных лавочках, за все ставят цены вдвое и втрое, держат их в невежестве и в вечном долгу» (1, XXVI–XXVII), — заносит Короленко свои наблюдения в писательский дневник.

Но и в капиталистической России простой народ, подобно американским потомкам чернокожих рабов, также содержится сильными мира сего в нищете, «в невежестве и в вечном долгу». В поисках лучшей доли отправляется в далекую заокеанскую страну герой повести «Без языка» горемыка-крестьянин Матвей Лозинский. Соблазнившись рассказами об американских «свободах», предпринимает он свое трудное путешествие.

Однако и за океаном наивного бедолагу поджидают бедствия, горечь, разочарование: «сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка <...> "Боже мой, Боже мой, — думал Матвей. — Да здесь человек, как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море..."» (4, 28)

«А все-таки мысль о свободе сидела в голове у Матвея. <...>

— А что, скажите на милость... Какая там у них, люди говорят, свобода?

— А, рвут друг другу горла, — вот и свобода ... — <...> Поэтому я, признаться, не могу понять, зачем это иным простакам хочется, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома... <...> на этом свете, кто перервал друг другу горло, тот и прав... А что будет на том свете, это когда-нибудь увидите и сами...» (4, 22), — так опытный, выдавший виды земляк героя наставляет его на пути в неизведанные края.

Матвей, к своему несчастью, не знает ни языка, ни обычаев, ни принятых норм социального поведения в новой для него стране. Отсюда проистекают его многочисленные бедствия и злоключения.

Он приехал в Америку с готовностью изо всех сил трудиться, честно зарабатывать свой хлеб. Матвей — подлинный славянский богатырь: «человек огромного роста, в плечах сажень, руки, как грабли, голова белокурая, курчавая, величиною с добрый котел, — настоящий медведь из пущи. <...> Только глаза и сердце — как у ребенка» (4, 12). Но чистый душевный строй героя, его человечность, трудолюбие, лучшие качества его бесхитростной, прирожденно честной натуры несовместимы со звериными законами капитализма, порождением которых являются все те же бесправие, безработица, нищета, подавление личности. В жестоком социуме, существующем по законам джунглей, где сильный пожирает слабого, на простодушного человека «без языка» тоже готовы смотреть как на бешеного зверя или кровожадного дикаря.

На родине Лозинского принято было в знак почтения низко кланяться и целовать руку господам: «В той местности, откуда он был родом, люди, носящие сермяжные свиты, имеют обыкновение выражать свою любовь и уважение к людям в сюртуках — посредством низких, почти до земли, поклонов и целования руки» (4, 98). В Америке Матвей не изжил этой рабской привычки. Но когда он тянется губами к руке булочника, продавшего хлеб, или к руке полисмена, или судьи, тем представляется, что дикарь намеревается их укусить. Полицейский Гопкинс даже давал по этому поводу интервью газетному репортеру: «незнакомец удивил его своим непонятным поведением: "Сняв с головы свой странный головной убор (по-видимому, из бараньего меха), он согнул стан таким образом, что голова его приплась вровень с поясом Гопкинса, и, внезапно поймав одной рукой его руку, потянулся к ней губами с неизвестною целью. Гопкинс не может сказать наверное, что незнакомец хотел укусить его за руку, но не может и отрицать этого» (4, 79).

За свое необычное поведение, свой диковинный вид: белую сермяжную свитку, высокую баранью шапку, огромные грубые сапоги — «Матвей Лозинский из Лозищей стал на несколько дней самым знаменитым человеком города Нью-Йорка, и каждый шаг его в эти дни был прослежен очень точно» (4, 76). За загадочным «нью-йоркским дикарем», «человеком, который кусается» (4, 120), пристально следили охочие до сенсаций репортеры. Репортажи о «загадочной личности» были растиражированы по целой Америке.

Короленко во всех подробностях описывает горестные мытарства своего героя, потерявшегося в каменных джунглях громадного безжалостного города: «невдалеке от огромного здания газеты "Tribune" странный человек зачерпнул воды у фонтана и пил ее с большой жадностью»; толпы американцев «обратили внимание на странного человека, который, стоя в середине этого людского потока, кричал:

— Кто в Бога верует, спасите!

Но, разумеется, никто его не понял» (4, 83). Крик отчаяния среди толпы остается гласом вопиющего в пустыне. Никто не спасет, не протянет руку помощи. «Какой-то дикарь в фантастическом костюме. Наша страна существует не для таких субъектов...» (4, 94), — так считают безучастные обыватели.

В Центральном парке Матвей случайно становится свидетелем и участником митинга безработных. И здесь человек «без языка» впервые в полной мере постигает даже небывалым способом настроения и чаяния подобных себе людей, пусть и говорящих на другом языке. Происходит внутреннее единение Матвея Лозинского с таким же, как и он сам, обездоленным трудовым человеком: «В груди лозищанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый еще раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством. Это нравилось ему, это его как-то странно щекотало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось еще большего, ему захотелось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они оказали ему участие, которое он чувствует теперь к ним. <...>

Он не знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и, ожидая чего-то, проталкивался вперед, опьяненный после одиночества сознанием своего единения с этой огромной массой в каком-то общем чувстве, которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах» (4, 97–98).

Это внезапно нахлынувшее радостное чувство единения, надежда на взаимопонимание требуют эмоционального выхода: «Он только шел вперед, с раскрытым сердцем, с какими-то словами на устах, с надеждой в душе» (4, 99). На беду «на пути лозищанина оказался мистер Гопкинс, бывший боксер и полисмен» (4, 98). Именно на него Матвей «излил <...> все то чувство, которое его теперь переполняло: чувство огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-то помощь. Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами» (4, 99). Иного выражения своих лучших чувств, чем целование руки, забытый российский крестьянин не знает.

В ответ на свой душевный порыв Матвей получает тяжелый удар полицейской дубинкой. Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения: «если на приветствие последовал хороший удар по голове... <...> Это, конечно, затемняет рассудок и освобождает страсти!» (4, 121)

С психологической достоверностью показывает Короленко контрастную смену переживаний своего героя. Вопиющая несправедливость, обманутые надежды на взаимопонимание и сочувствие превращают незлобивого, смиренного человека в ожесточенного зверя: «Лозищанин внезапно поднялся, как разъяренный медведь... По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. <...> не было уже человеческой силы, которая была бы в состоянии сдержать его. Неожиданное оскорбление и боль переполнили чашу терпения в душе большого, сильного и кроткого человека. В этом ударе для него вдруг сосредоточилось все то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого, наконец, затравили, как дикого зверя» (4, 99–100).

Он сбил с ног обидчика, «полисмен Гопкинс упал на землю, среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела... За Гопкинсом последовал его ближайший товарищ, а через несколько секунд огромный человек, в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка... За ним с громкими криками и горящими глазами первые кинулись итальянцы» (4, 100).

Те же безработные итальянцы снова проявили человеческую солидарность, когда помогли Матвею бежать с места происшествия; посадили в поезд, увезший героя в другой штат, далеко от Нью-Йорка. Но, сойдя с поезда, неприкаянный странник на чужбине не знает, куда ему податься, где приклонить голову. С обреченной покорностью судьбе апатично сидит он на железнодорожной станции.

Вконец загнанному, «голодному, истерзанному и потрясенному» (4, 131) Матвею Лозинскому остается только уповать на милость Божию, только молиться: «Господи Боже, Святая Дева, — бормотал он, — помогите несчастному человеку» (4, 132).

Молитвы героя были услышаны. Ему чудом повезло. Он не погиб, не пропал, не попал в тюрьму. Но лишь благодаря случайности — встрече с обжившимся в Новом Свете земляком, который принял горячее участие в судьбе Матвея.

Но от скольких подобных ему искателей лучшей доли отвернется фортуна в чужой стране, — размышляет писатель в финале повести: «перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань — смотреть, как подходят корабли из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошел морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидания... Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане?» (4, 145)

Если такие люди выживут, их неизбежный удел — постепенная утрата национальной самобытности, родного языка, родины. Родины, несправедливое социально-политическое устройство которой вынудило закабаленных людей бежать на свой страх и риск в чужеземные края в призрачной надежде на лучшее: «Матвею становилось грустно. Он смотрел вдаль, где за синюю дымкой легкого тумана двигались на горизонте океанские валы, а за ними мысль, как чайка, летела дальше на старую родину... Он чувствовал, что сердце его сжимается сильной, жгучей печалью...

И он понимал, что это оттого, что в нем родилось что-то новое, а старое умерло или еще умирает. И ему до боли жаль было многого в этом умирающем старом <...> Матвей сознавал, что вот у него есть клочок земли, есть дом, и телки, и коровы... Скоро будет жена... Но он забыл еще что-то, и теперь это что-то плачет и тоскует в его душе... Уехать... туда... назад... где его родина <...> Нет, этого не будет: все порвано, многое умерло и не оживет вновь, а в Лозицах, в его хате живут чужие. А тут у него будут дети, а дети детей уже забудут даже родной язык» (4, 145).

На этой щемящей ностальгической ноте завершается повесть «Без языка».

Во многих своих произведениях Короленко показывает мечты, порывы к свободе, к привольной жизни загнанных, забытых, угнетенных людей.

Символичен образ узника, заточенного на целые десятилетия в тюремной башне над морем, в рассказе «Мгновение» (1886–1900). Для героя ценнее, чем длительное прозябание в заключении, один упоительный миг свободы. Ради него узник — в прошлом мятежник и отважный флибустьер — готов рискнуть жизнью.

За долгие годы он сумел подточить решетку и в ураганную ночь выпрыгнул из окна башни в бушующее море: «Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он <...> громко крикнул... Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни... Сзади раздался заглушен-

ный ружейный выстрел, потом гул пушечного выстрела понесся вдаль, разорванный и раз-метанный ураганом. <...> и тот же восторг переполнял его грудь... Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни... А он... Он хочет только свободы» (2, 397).

Такое же страстное желание свободы испытывал и сам Короленко, когда был арестован и заключен в одиночную камеру военно-каторжного отделения тобольской тюрьмы. Здесь он сочинил стихотворение, в котором в полной мере нашла художественное выражение тема тюремного узничества и свободолюбия:

Вкруг меня оружие, шпоры,
Сабли звякают, бренчат,
И у «каторжной» затворы
На пол падают, гремят.

И за мной закрылись двери,
Застонал, звеня, замок...
Грязно, душно, стены серы...
Мир — тюрьма... Я одинок...

А в груди так много силы,
Есть чем жить, страдать, любить...
Но на дне тюрьмы-могилы
Все приходится сложить...

Страшно... Светлые мечтанья
Вольной юности моей
И святые упованья
В силу гордую идей

Смолкли все и в миг единый
Улеглись в душе на дне...
Божий мир сошелся клином,
Только свету, что в окне!.. (2, XI–XII)

Это одно из немногих произведений Короленко, в котором отразились печаль, тоска и отчаяние. Писатель быстро преодолевает эти настроения со свойственными его натуре жиз-нелюбием и оптимизмом. Даже на пересыльном этапе он умудряется находить позитивные стороны: «Вы помните, что я мечтал о летнем путешествии, — ну вот, хоть на привязи, а путе-шествую», — пишет Короленко другу. Говоря о своих скитаниях по отдаленным, глухим угол-кам страны в ссылках, писатель замечал, что «в народ» он «был доставлен на казенный счет».

Наблюдения и впечатления от скитальческой жизни отразились в целом ряде сибирских рассказов, путевых очерков, дорожных зарисовок: «Соколинец», «По пути», «Сон Макара», «Убивец», «Фёдор Бесприютный», «Марусина заимка. *Очерки их жизни в далекой сто-роне*», «Ат-Даван. *Из сибирской жизни*», «Мороз», «В пустынных местах», «За иконой», «Последний луч» и многих других.

Так, идейно-художественная доминанта очерка «Последний луч» (1900) — все та же неодолимая жажда света. Обитателям мрачного ущелья сибирской реки Лены «охота сол-

нушко посмотреть» (1, 384). Дедушка с маленьким внуком выходят каждый раз на определенное место, откуда раз в день бывают видны солнечные лучи: «За горами совершалось что-то ликующее и радостное. Дно расселины все разгоралось. Казалось, солнце подымается с той стороны по склонам хребта, чтобы заглянуть сюда, в эту убогую щель, на эту темную реку, на эти сиротливые избушки, на старика с бледным мальчиком, ждавших его появления» (1, 385).

Крохотный, объемом в одну страничку, рассказ «Огоньки» (1900) — это большое, философски глубокое, символическое обобщение жизненного пути человека и человечества. Его вечного целеустремленного движения вперед — к лучшей жизни, счастью, будущей вселенской гармонии — к цели, неизменно влекущей, но бесконечно отдаляющейся; казалось бы, недостижимой.

Ненастным осенним вечером плывет путешественник по угрюмой сибирской реке. Вспыхнувший во мраке вдали огонек дарит призрачную надежду на скорое пристанище: «Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом, — и путь кончен... А между тем — далеко!.. И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, — все так же близко, и все так же далеко...» (1, 379)

Главный смысл этого лирического этюда, как и всего творчества Короленко, в том, что сияющие далеко впереди огоньки, как спасение, влекут к свету, укрепляют силы, вселяют надежду и веру: «Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди — огни!..» (1, 379)

«ЛЮБОВЬ — САМОЕ ПРОЧНОЕ ПРАВИЛО...»

(к 170-летию А. О. Новодворского)

«Андрей Осипович Новодворский (1853–1882) — талантливый русский писатель, публиковавший свои произведения под псевдонимом А. Осипович. Он не включен в число отечественных художников слова первого ряда. И сегодня уже мало кому известен, почти забыт. Между тем писатель обладал незаурядным литературным дарованием, которое, несомненно, мог бы развить еще более, если бы его жизнь не оборвалась так рано.

Судьба не была благосклонна к Андрею Новодворскому. Родившийся в обедневшей дворянской семье, он фактически вел жизнь разночинца, полную трудностей и материальных лишений. Рано остался без отца и уже в подростковом возрасте должен был заботиться о домочадцах — матери, сестрах. Грошковые уроки в качестве домашнего учителя, которыми Андрей пытался зарабатывать на хлеб насущный, не спасали от нужды и даже голода. Таков был удел многих разночинцев.

Так, ярчайший представитель литературно-демократической критики, поэт, публицист, переводчик Н. А. Добролюбов (1836–1861), происходивший из священнической среды, после смерти родителей, будучи 18-летним юношей, остался старшим в семье. Он взял на себя попечение о многочисленных младших братьях и сестрах. Изнурительный труд подорвал здоровье Добролюбова. Он умер в 25 лет от скоротечной чахотки. От той же болезни на 29-м году жизни скончался Новодворский.

Ему было отмерено немного лет, литературное наследие писателя совсем не велико: повесть и несколько самобытных рассказов. По словам современной ему критики, писатель «промелькнул метеором» на страницах «Отечественных записок». Однако Новодворский (А. Осипович) по праву вошел в историю отечественной словесности. Высоко ценил его творчество классик русской литературы, великолепный мастер политической сатиры М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889). В своем журнале «Отечественные записки» он печатал произведения А. Осиповича, дорожил сотрудничеством с ним до последних лет жизни молодого автора. В его творчестве, близком щедринской литературной школе, пролагались новые художественные пути.

А. Осипович — писатель, за которым в его время укрепилась репутация «изобразителя типов молодого поколения», то есть поколения русской молодежи 1870-х годов. Этот период русской истории был ознаменован социально-политическим движением народников. Разночинная интеллигенция предпринимала «хождение в народ», стремясь сблизиться с массой простых людей, в большинстве своем неграмотных. Народники вели среди крестьян просветительскую и пропагандистскую работу, пытались внедрить социалистические идеалы. Однако такие попытки заведомо были обречены на провал.

Народничеству как общественному движению посвятил свой последний роман «Новь» (1877) И. С. Тургенев (1818–1883). Писатель показал трагичность судьбы молодого поколения народников, не нашедших в крестьянстве отклика своим идеям. Соображения о современной ему молодежи, которые руководили Тургеневым при «сочинении “Нови”», писатель изложил в письме издателю и редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу 22 декабря 1877 года: «Молодое поколение было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников — что, во-первых, несправедливо, — а во-вторых, могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь; либо это поколение было, по мере возможности, возведено в идеал, что опять несправед-

ливо — и сверх того, вредно. Я решился выбрать среднюю дорогу — стать ближе к правде; взять молодых людей, большей частью хороших и честных, — и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско. Насколько мне это удалось — не мне судить; но вот моя мысль <...> Во всяком случае, молодые люди не могут сказать, что за изображение их взялся враг; они, напротив, должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне — если не к их целям, то к их личностям. И только таким образом может роман, написанный для них и о них, принести им пользу».

На тургеневский роман «Новь» немедленно откликнулся А. Осипович. В том же 1877 году он написал и напечатал в журнале Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки» «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны (Дневник домашнего учителя)» — первое свое печатное произведение. Его героями стали сам Тургенев, Соломин — один из персонажей романа «Новь». А также в новом, необычном качестве были представлены известные литературные типы и образы, созданные ранее другими писателями.

Такой художественный прием был одним из излюбленных в сатирической прозе Салтыкова-Щедрина. Так, например, в цикле очерков «В среде умеренности и аккуратности» (1874–1877) писатель «оживляет», помещая в современные условия, Чацкого, Молчалина, Загорецкого, других героев комедии А. С. Грибоедова (1795–1829) «Горе от ума» (1825). В первой части очеркового цикла — «Господа Молчалины» — Салтыков-Щедрин говорит о неистребимой живучести вечного, вневременного типа ничтожного приспособленца из грибоедовской комедии в стихах: «О, счастливые, о, сто-крат блаженные Молчалины! Они бесшумно, не торопясь, переползают из одного периода истории в другой».

В «Эпизоде из жизни ни павы, ни вороны» А. Осиповича знаменитые литературные персонажи, чьи имена стали нарицательными, функционируют по-своему. Так, оказывается, что у Преображенского — главного героя повести — отцом является Печорин, матерью — княжна Мери, дедом — лермонтовский демон, братьями — тургеневские Рудин и Базаров. Фигурируют также и «дальние родственники» Преображенского: пушкинский Онегин и «его сын» — гончаровский Обломов. Причем, герой А. Осиповича, излагая свое родословие, утверждает, что Онегин «вовсе не брат отца, как утверждали некоторые, а только дальний родственник, десятая вода на киселе». Таким образом, автор и его герой не соглашались с литературным критиком В. Г. Белинским (1811–1848), назвавшим Печорина «младшим братом Онегина» в своей статье о романе М. Ю. Лермонтова (1814–1841) «Герой нашего времени».

В этом забавном контексте устанавливаются уже нешуточные связи между образами так называемых «лишних людей» разных поколений и их «прародителем», коим является «*печальный демон, дух изгнанья*», или «*дух отрицанья, дух сомненья*», если говорить пушкинскими словами.

Такой именно дух сомнения, нерешительности, неуверенности в своих силах, неверия в правильности избранного пути смущает сердце Преображенского. Однако он способен иронизировать по поводу непоследовательности своего inferнального «предка», который все отрицал, но «не отрицал и не сомневался даже в крепостном праве». То есть крепостное право трактуется как «антихристов» элемент в состоянии общественного устройства.

Но на родословном древе Преображенского не только демонические ветви. Им противостоит начало христианское, любящее, преобразующее. «Сын Печорина и княжны Мери» был усыновлен и воспитан вдовой бедного сельского священника и получил его «церков-

ную» фамилию, в которой содержится недвусмысленный намек на возможность духовного преображения личности.

В образе Преображенского немало личного, автобиографического. Герой повести, как и сам автор, — выходец из разорившегося дворянства. Он оставил свой привилегированный социальный класс и желал бы примкнуть к «новым людям», опроститься, жить единой жизнью с трудовым народом. Новодворский записал в своем дневнике: «Я похоронил всех и вся, все, что носило на себе хоть какие-нибудь признаки буржуазии-дворянства... Поплатился же я за это! Целый год (почти) ни одного урока не имел, чуть с голода не подох, а все-таки вспомнить приятно! Это было лучшее, честнейшее время в моей жизни. Дух захватывало от какого-то небывалого чувства, да это и понятно: минута была решительная...»

В такую решительную минуту писатель внутренне готов был посвятить себя делу борьбы за народное счастье, несмотря на все трудности, риски и опасности: «Да, мы все решились утонуть, мы знаем, что это нас ждет рано или поздно, но мы страдали не за себя: мы страдали за судьбы всех утопающих». Эта дневниковая запись в то же время показывает, что бесперспективность и трагичность пути, избранного народниками, кризис их движения были для Новодворского очевидны.

Главного героя повести «Ни пава, ни ворона» одолевают сомнения, колебания, разъедающий душу скептицизм. Преображенский мучается от противоречий, бросается в крайности. От своего дворянского сословия он навсегда отбился, а к трудовому классу по-настоящему так и не прибил. И потому постоянно ощущает внутреннюю раздвоенность, именует самого себя «ни павой, ни вороной».

Преображенского нельзя считать абсолютным литературным двойником Новодворского. И все-таки писатель также относил себя к типу «ни павы, ни вороны». В дневнике он вспоминал характеристику, данную ему когда-то учителем: «"Что такое Новодворский? — Человек чрезвычайно даровитый <...>". Однако раскрыть и применить свои дарования в полной мере ему не удалось. «Все недоумевают, — продолжал он дневниковую запись, — а между тем дело очень просто: я ни пава, ни ворона».

Родственные этому типу герои представлены и в других рассказах А. Осиповича начала 1880-х годов: «Карьера», «Накануне ликвидации», «Сувенир». Так, в рассказе «Сувенир» (1881) безымянный молодой человек, от лица которого ведется повествование, уезжает из столицы в деревню работать сельским учителем. Он мечтает жить честной трудовой жизни: «Зимою — педагогические занятия, а летом — хлебопашество... Может ли быть что лучше такой мирной, трудолюбивой жизни? Организм здоров, грудь дышит свободно, душа не страдает...»

Оказывать посильную помощь народу старается и спутница рассказчика — молодая привлекательная девушка Надежда Александровна. Дочь полковника, она оставила свою семью, окончила медицинские курсы и поехала в то же село в качестве фельдшерицы. В свои 20 лет она отличается чрезвычайно серьезным отношением к жизни и к избранному делу заботы о народе. Цельность натуры молодой героини, ее готовность к подвижническому труду изумляют рассказчика: «Странная, гордая девушка! <...> Ни капельки юмора в характере. Вечная сосредоточенность, напряжение нервов, какой-то деспотизм над собою, подвижничество будто».

Однако все идиллические стремления и благородные порывы разбиваются о неприглядную реальность. Сельские жители и местечковое начальство относятся к городским просветителям с подозрительностью, недоверием, а иногда даже с ненавистью. Показателен эпизод в церкви, где при скоплении народа батюшка — отец Иван, не жалея красноречия

в старании запугать простых людей и очернить их приезжих молодых помощников, произносит проповедь о «лжеучителях». Мракобес в рясе прямо указывает на героя-рассказчика и Надежду Александровну: «— Много грехов вкоренилось в человеке, много плевел завелось на ниве Господней! Пьянство, лень, стяжание, блуд... Богатую жатву собирает диавол! Но все эти пороки, порознь и даже вместе взятые, — ничто в сравнении с той язвой, которая в самом корне подтачивает сердце человека и уподобляет его сосуду, наполненному змеями!

— Ох, Господи!..

— Берегитесь лжеучителей! — с чувством воскликнул оратор, простирая руку в нашем направлении. — Они приходят к вам... — и так далее.

Тысячи глаз повернулись в нашу сторону. Надежда Александровна вдруг снова очнулась, вспыхнула до ушей и почти выбежала из церкви».

Разочарование в своей деятельности испытал и сам Новодворский: «Я ясно почувствовал, что я теперь дальше от народа, чем когда бы то ни было, что я теперь не только не могу быть черноработчим, как мечтал когда-то, но что даже положение народного учителя едва ли было бы мне под силу...»

Герой рассказа «Сувенир» после своих неудач на избранном поприще, после трагической гибели Надежды Александровны размышляет об их общих наивных порывах к благой деятельности во имя народа: «Было ли то следствием любви и юности, когда сердце стремилось к широкой жизни...» Рассказчик приходит к выводу о шаткости, неустойчивости бытия: «Жизнь есть борьба правил с исключениями <...> значительная часть сегодняшних исключений завтра может сделаться правилом, и наоборот». В то же время в герое нет сознания полной обреченности. Как и автор, он не утратил веры в преобразующую силу любви и добра: «Какие бы подлости ни выкидывала иногда жизнь, любовь все-таки — самое прочное, неизменное "правило"».

Этим правилом руководствуется и молодая героиня святочного рассказа А. Осиповича «Тетушка» (1880), обладающая столь же цельной, самоотверженной натурой, как Надежда Александровна в рассказе «Сувенир». Юная девушка по имени Женечка, подобно женам декабристов, добровольно отправляется в сибирскую ссылку, назвавшись невестой ссыльного, чтобы поддержать его, скрасить тяжелую участь.

Такие кристальные души, отзывчивые на чужую боль, равнодушные к человеческим страданиям, любящие ближнего истинно христианской любовью, подобны «чистым, серебряным струйкам, текущим прямее других». Этот метафорический образ — символ поступательного движения истории, неизбежного одоления зла и конечного торжества добра, красоты и правды — развернут в речи Алексея Ивановича в рассказе «Роман» (1881): «Я представляю себе жизнь в виде бесчисленного множества ручейков, рек, потоков, текущих в одном направлении... в океан, который их поглотит. Они переплетаются, сталкиваются, некоторые временно поворачивают назад, образуют мимоходом стоячие озера, вонючие болота, дают множество второстепенных разветвлений; но между ними есть непременно чистая серебряная струйка, текущая прямее других и по самому удобному месту; она со временем делается главной рекою, восторжествует над остальными. В этой струйке как будто сосредоточена идея, логика истории, и кто смешал ее с побочными, часто грязными, течениями, кто, за беспорядочным гулом и клокотанием, не различил ее мелодического журчания и не откликнулся на него — тот даром прожил жизнь».

Поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

ОБ ЭТИКЕТЕ ОБЩЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ

Есть героические биографии, а есть обычные.

Моя жизнь сложилась так, как сложилась.

В следующем году мне должно исполниться шестьдесят лет. Более тридцати пяти из них я проработал в редакциях газет, журналов, в книжном издательстве. Подвигов не совершал. Но было и в моей рутинной каждодневной работе много интересного.

Впрочем, обо всем по порядку.

Я начал печататься в 1981 году, а работать редактором в 1988 году. Был в советское время литконсультантом журнала «Огонек», литературным редактором еженедельника «Семья», редактором отдела поэзии журнала «Мы», обозревателем газеты «Крестьянская Россия»... Работал также спецкором в газете «Совершенно секретно», репортером и начальником отдела рекламы в журнале «Столица» и в других изданиях.

Более двадцати лет руковожу издательством «Вест-Консалтинг», выпускаю-редактирую журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Зарубежные записки», газеты «Литературные известия», «Поэтоград» и другие СМИ.

Издal более двух тысяч наименований книг.

Моя работа дала мне радость общения со многими известными и талантливыми людьми. Я издал книги Виктора Сосноры, Геннадия Айги, Владимира Дашкевича, Сергея Есина, Славы Лёна, Юрия Казарина. Александра Тимофеевского, Юрия Влодова, Юрия Беликова, Сергея Бирюкова, Константина Кедрова, Елены Кацюбы, Нины Красновой, Валерия Тюпы, Владимира Алейникова, Кирилла Ковальджи, Тамары Жирмунской, Владимира Бояринова, Максима Замшева, Вячеслава Воронкова, который в советское время был председателем горисполкома Сочи, Владимира Гринина, бывшего посла РФ в ФРГ, Владимира Казиминова, работавшего в разные годы послом в шести странах, Александра Казинцева и многих-многих других.

Публиковал в периодике произведения Эльдара Рязанова, Евгения Весника, Александра Солженицына, Эдуарда Тополя, Джуны, Эдуарда

Лимонова, Константина К. Кузьминского, Новеллы Матвеевой, Владимира Соколова, Юрия Полякова, Эдуарда Асадова, Игоря Шкляревского, Ольги Кучкиной, Юрия Ряшенцева, Татьяны Бек, Ольги Ермолаевой, Вероники Долиной, Сергея Мнацаканяна, Владимира Гандельсмана, Алексея Цветкова, Бахыта Кенжеева, Андрея Таврова, Анны Долгаревой... Список этот можно продолжать очень долго.

Наша компания «Вест-Консалтинг» под кураторством Сергея Чупринина создала сайты таким поэтам, как Евгений Евтушенко, Виктор Соснора, Евгений Рейн, Александр Кушнер, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский, Геннадий Русаков, Олег Чухонцев, Инна Лиснянская, Наум Коржавин, Юлий Ким, Тимур Кибиров, — короче, всем лауреатам премии «Поэт».

Я делал интервью с Юрием Любимовым, Сергеем Бондарчуком, поэтом-пародистом Александром Ивановым, Михаилом Таничем, Артёмом Боровиком, Василием Аксёновым, Дмитрием Савицким, Юрием Мамлеевым, Алексеем Хвостенко, Евгением Сидоровым, Сергеем Филатовым, Андреем Турковым, Дмитрием Сухаревым, Еленой Камбуровой...

Тридцать пять лет активной работы в издательско-редакторско-журналистском деле все-таки не прошли даром.

За эти годы у меня сложились хорошие, добрые отношения со многими авторами.

Некоторые из них удивляли меня не только своим даром, но и замечательным тактом, высоким этикетом человеческого общения.

...Помню такой случай. Мне было двадцать пять лет. Меня только что назначили редактором отдела поэзии журнала для подростков «Мы». И я решил напечатать стихи знаменитого режиссера Эльдара Рязанова, которым — как мастером комедии и ведущим «Кинопанорамы» — восхищался.

Вообще, Эльдар Александрович научил меня отношению к жизни. Научил смеяться над собой, не воспринимать себя всерьез. И работать, работать с полной самоотдачей.

«Кинопанорамы» Рязанова стали для меня, пожалуй, главным эстетическим университетом.

В жизни я видел Рязанова однажды — на съемках фильма «Небеса обетованные», которые проходили (в том числе) возле станции метро «Новокузнецкая».

Это прозвучит, конечно, громко и пафосно, но я состоял в переписке с Эльдаром Рязановым. Если быть точным — письмо было одно. От Эльдара Александровича — ко мне.

Итак, в 1990 году я предложил Рязанову, позвонив ему по телефону, напечатать стихи в нашем издании. Знаменитый режиссер неожиданно для меня быстро согласился и предложил мне забрать рукопись его стихов на Высших режиссерских курсах. Письмо ко мне (безвестному молодому редактору) начиналось так: «Дорогой Евгений Викторович...» Я был поражен... И с тех пор понимаю, что такое — хорошо воспитанный человек. Хорошо воспитанный человек вежлив со всеми. Вне зависимости от возраста и регалий... В дальнейшем я старался хоть в этом быть похожим на выдающегося режиссера.

Когда много лет назад С. И. Чупринин поручил мне делать сайт лауреату премии «Поэт» Сергею Гандлевскому, мне было немного не по себе. Дело в том, что накануне я опубликовал острую статью, где подверг критике поэзию этого автора. В частности, за неряшливые рифмы. Меня, конечно, потом за это сурово ругали в прессе, но я и тогда считал, и сейчас считаю, что литературный критик — союзник поэта (прозаика). И старается (в меру своих сил) найти слабые места у автора и указать на них. Чтобы у автора была возможность эволюции, творческого роста. Чем талантливее автор, тем строже с него спрос.

В любом случае я отдавал себе отчет в том, что Сергей Маркович мог на меня обидеться и послать куда подальше.

Но делать нечего... работа есть работа. Заказ Чуприна мне надо было выполнять. Я написал деловое письмо С.М. Гандлевскому.

В ответ получил доброе и велеречивое послание, которое начиналось словами «Глубокоуважаемый Евгений Викторович...»

Сайт мы сделали. По-моему, все остались довольны.

С тех пор в переписке я называл г-на Гандлевского исключительно глубокоуважаемый Сергей Маркович. Хорошие манеры перенимать никогда не поздно.

Я как автор довольно давно начал печататься (со стихами и прозой) в легендарном санкт-петербургском журнале «Звезда», где сотрудничаю с редактором отдела поэзии и ответственным секретарем Алексеем Пуриным.

Многие годы мы называли друг друга по имени-отчеству. Но однажды я получил письмо от Алексея Арнольдовича, где он — по праву старшего — предложил мне называть друг друга по имени. Я с радостью согласился.

Предлагали мне называть себя по имени и перейти на «ты» и Александр Павлович Тимофеевский, и Сергей Евгеньевич Бирюков, но тут я отказался. Бирюков — мой учитель. А Тимофеевский, с которым мы действительно дружили и даже неоднократно выпивали, все-таки был старше меня на тридцать лет.

Это я сейчас рассказал о тех людях, которыми восхищаюсь. Которые для меня образец в этикете.

К сожалению, этикет с годами меняется. И не в лучшую сторону.

Теперь я как редактор часто получаю такие письма:

Здравствуйте, Евгений. Хочу напечататься в вашем журнале.

Подписываются именем, а часто именем-отчеством.

Я поначалу удивлялся. Ну как же так? Разве сложно обратиться по имени-отчеству к незнакомому человеку?

Когда я задавал авторам этот вопрос, они либо ничего не отвечали (и прекращали общение), либо писали в ответ, что не знают моего отчества и т. д.

И это в век интернета, когда достаточно зайти в Яндекс или Гугл, открыть Википедию, чтобы получить нужную информацию.

Иногда авторы отвечали, что, мол, на Западе принято всех называть по имени.

Это так. Но во-первых, мы живем не на Западе. А во-вторых, и на Западе есть свой этикет. Например, мне предлагал перейти на «ты» один французский поэт, с которым мы в хороших, добрых отношениях. Но я отказался. Он старше меня намного, и мне было неловко.

Я не могу представить себе ситуацию, чтобы я послал стихи в другой журнал, неизвестному редактору, и не назвал бы его по имени-отчеству...

Почему же так делают другие?

Особенно забавно, когда тридцатилетний (например) автор обращается к тебе по имени, а сам величает себя полным именем — условно Иваном Ивановичем Ивановым. Это как понимать? Он уважает себя, а меня совсем ни в грош не ставит. Тогда почему обращается ко мне?

В последнее время я на такие письма не отвечаю. Если писатель не знает азов этикета, то что он может сказать читателю, чему может научить?

У меня нет претензий ни к кому. Я просто хочу понять: почему так происходит? Почему утрачены элементарные правила межличностного общения? Почему подростки предпочитают говорить не на прекрасном русском языке, а матом, почему редкий человек придерживает дверь в вестибюле метро, почему на приветствие «добрый день» чаще всего отвечают «добрый»? И т. п. Ведь это невежливо. Может быть, это недоработка школы или семьи?

Ей-богу, не знаю. Казалось бы, тут как раз и нужны писатели, сеющие доброе, разумное, вечное. Но писатели, как показывает жизнь, сами часто не на высоте положения.

Меньше всего хочется прослыть ворчливым, брюзжащим стариком. Но и молчать в данном случае не считаю возможным. У меня остается право не отвечать на любое некорректное письмо.

Поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в 1949 году в г. Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах.

ПАРОДИИ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ И ДР. ПОЭТОВ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ

*Что я знаю, что не знаю...
Все, что знаю, — ерунда.
Хорошо, еще не лаю,
Отвечаю «нет» и «да».*

Владимир Беспалько

То не знаю, се не знаю,
Вижу все — тому и рад.
Все сижу и сочиняю
Про весну и листопад.
Жаждой мести не пылаю,
Только шлю намеки врагу.
Пусть пока еще не лаю,
А вот укусишь смогу.

ЖЕСТОКОЕ

*Швея курила и пила кагор...
.....
Потом швея стояла у двери,
Потом швея стояла у окна...
Но что творилось у швеи внутри,
Никто не знал. Особенно она.*

Александр Вавилов

Напитка нет опасней, чем кагор,
Лишь полбутылки выпил — быть беде.
А с куревом — известно до сих пор,
Что места не найдешь потом нигде.
Как бегала по комнатам швея,
Трагичен был ее кордебалет.
Но, наблюдая, не сказал ей я,
Где у меня в квартире туалет.

МЕЛОЧНОЕ

*Да. Все начнется с мелочей —
в овраге высохнет ручей...*

.....

*Да, все начнется с ерунды,
на полюсах подтают льды...*

Виталий Дмитриев

Да. Все бывает натошак —
носок не отыскать никак.
Потом начнется ерунда —
исчезнет теплая вода.
На завтраке постигнет рок —
нет ничего — один творог...
И я, не застелив кровать,
перо с бумагой сразу хватать!
Из-за подобной чепухи
такие пишутся стихи!

СЕКРЕТ СЛАВЫ

*поэту деньги не нужны
и документы тоже,
поэт замечен для страны,
когда с разбитой рожей.*

Дмитрий Зиновьев

вот это новость — ох и ах,
лоб от волнения вытер,
сказали — пародист на днях
заявится к нам в Питер.
какой футбол, какой Зенит,
мы жаждем пародиста.
приедет пусть — и знаменит
он станет очень быстро.

Александр Гумённый, «ИНЕТ_СОИТИЕ»
М.: «Вест-Консалтинг», 2023

Первая книга Александра Гумённого наполнена разнообразными и нестандартными произведениями. Современная фрагментарность изложения, не подпадающая под классическую модель стиха, не дает читателю заскучать. То, что коротко и емко, правдиво. Кто-то только глядит на звездное небо, а кто-то — делает выводы, как, например, автор изящно подводит итог долгому созерцанию небесных тел в стихотворении-посвящении «Астрологу»:

звезды ничего
не говорят
вопрошаем — мы
а они — смотрят

Лаконичная форма располагает к креативности. Творческий поиск автора порой завершается на той тонкой грани, переступив которую, краткий верлибр становится афоризмом:

боль причастна
к созиданию —
отбывает
срок
не свой

На самом деле здесь много смыслов. Создается условие для неоднозначной трактовки стихотворения, в которой есть место без вины виноватому состоянию, к которому поневоле испытываешь сострадание. Современный человек, привыкший к комфорту, стремится боли избегать, оттого столь необычная «реабилитация» этого состояния в глазах общественности выглядит оригинальной, полной авторского сострадания. А ведь автор прав! Боль — это сигнал организма о неблагополучии, устранить ее — значит привести себя в порядок, улучшить качество жизни. Вот и выходит, что, заставляя страдать, болевой синдром вынуждает нас обратить на себя внимание, а это и есть непосредственная причастность к созиданию нового будущего.

Это смысловое разнообразие работает на усиление роли читателя в восприятии текста: каждый пусть домысливает сказанное сообразно своему настроению. Александр Гумённый создает свои небольшие по размеру произведения, снимая ряд существующих ограничений на поэтическое творчество: тут тебе и верлибр, и разговорная лексика, и жонглирование смыслами, а в сочетании с краткостью высказывания на выходе получается свежий и оригинальный текст, как, например, стихотворение с молодежно-эпатирующим названием «Кайф». Игра задает тексту интонацию, собственно, ради игры этот текст и затевался:

я получил дозу
доза получила меня
балдеем вместе
классный был
кофе

Создавая собственный микрокосмос, Александр Гумённый опирается на богатый опыт предшественников от авангарда русской литературы: в книге мы встретим посвящения мастерам новаторской поэзии Константину Кедрову и Елене Кацюбе. Вместе с тем, автор свободен в выборе стилистики высказывания, что делает компактный текст весьма выразительным:

если образ
целует образину
получается стих

Запоминается, не правда ли? Эта маленькая провокация содержит в себе гомеопатическую дозу вербальной агрессии, примиряющую высокое с низким путем синтеза третьего — объединяющего — начала. Впрочем, автор в свойственном ему стиле рассуждает не только о становлении поэтического текста, но и о вещах, близких многим. Ну кто из нас не радуется первым весенним денькам?.. Вот и Александр Гумённый пишет о весне бережно, будто бы боясь ее спугнуть:

присматривается
осторожно
из глубины
желания
быть

Кажется, будто это заготовка, набросок для будущего текста, однако краткость изложения обманчива: внутри просматривается полновесный образ, который, возникнув в сознании читателя, обрастает подробностями уже за пределами написанного стихотворения. Каждый читатель волен рисовать свою картину. Стихотворение же вправе считаться готовой формой. Александр Гумённый творит свой особенный поэтический мир, в котором, как метко выразился в предисловии доктор филологических наук А. Бубнов, «должно быть тесно словам».

Вера КИУЛИНА

**Николай Офитов, «Музыкой чаруя неба синь»
М.: «Вест-Консалтинг», 2023**

Стихотворения Николая Офитова прямо-таки сочатся любовью ко всему живому и неживому. Традиционная по форме, эта лирика моментально окунает читателя в живую атмосферу природы, пробуждают восхищение и огромное чувство причастности к родной земле.

Если читатель с автором «на одной волне», это яркое природное явление — среднерусское лето — вызовет как минимум понимание. Это стихотворение похоже на торжественную оду, проникнуться которой в полной мере может столь же влюбленный в русскую природу. А использование старославянизмов в пейзажной лирике выдает высокодуховную натуру автора:

Я обнимаюсь с родною березою,
Тонкая липнет к губам береста.
И упиваюсь сладчайшими слезами —
Соком волшебным волную уста.

Автор описывает яркое, особо значимое для него мгновение, которое глубоко его впечатлило, поэтому в ход идет экспрессивная лексика, давно забытые слова и необычные синтаксические приемы. Видно, что его переживания обострены, это не просто тихое созерцание, это объяснение в любви. В этой книге очень много любви, так много, что хочешь не хочешь, а задумаешься: что же такого в этом чувстве? Почему ради него не спят ночами? Может быть, это вовсе и не чувство, а особое состояние, которое все обыкновенное делает восхитительным? А присутствие в жизни любимого человека позволяет заново открыть для себя мир и дает импульс к творчеству:

И сладостно становится,
И на душе — весна.
Улыбкой воздух светится,
И ширь полей ясна.

Равнодушие и любовь несовместимы. Спокойная уверенность — да, а равнодушие — ни в коем случае. Ничто так не вдохновляет, как искренние чувства к человеку, как желание поделиться своей огромной любовью и получить хоть капельку взамен:

Любовь требует самовыражения. Она просто не может молчать, когда ее так много, как у лирического героя Николая Офитова, чье сердце едва не разрывается от счастья.

Даже грусть в стихотворениях Офитова — светлая, смиренная. У этого чувства есть своя важная миссия — напоминать о быстротечности жизни, о том, что все проходит. И призывает задуматься: как и когда из отношений утекает любовь? Уходит она в одночасье или постепенно, день за днем?.. Без грусти во всех ее проявлениях невозможна полноценная жизнь, особенно когда человек вспоминает свое прошлое.

В поэзии Николая Офитова грусть — переживание кратковременное. Его стихотворения насыщены радостью жизни:

Что любовь?
Она, как Божий дар,
Как огонь, не гаснущий при ветре.
И уж если дар кому-то дан,
Не исчезнет никогда на свете.

Золотые слова. Николай Офитов не стесняется утверждать, что люди испытывают чувство любви по воле Всевышнего. Такой дар необходимо сохранять и преумножать. Это огромная сила, которая может и должна преображать человека, придавать ему сил на добрые дела. В общем-то, вся книга об этом. Автор говорит с нами о фундаменте нашего земного существования. Мечтаете изменить мир — наполните его любовью.

Вера КИУЛИНА

«Зинзивер»
(Санкт-Петербургский литературно-художественный журнал)
Издательство «Вест-Консалтинг»
(генеральный директор Евгений Степанов)
Бумага офсетная
Печать офсетная
Тираж 500 экз.
Сдано в набор 04.08.2023
Подписано в печать 17.08.2023